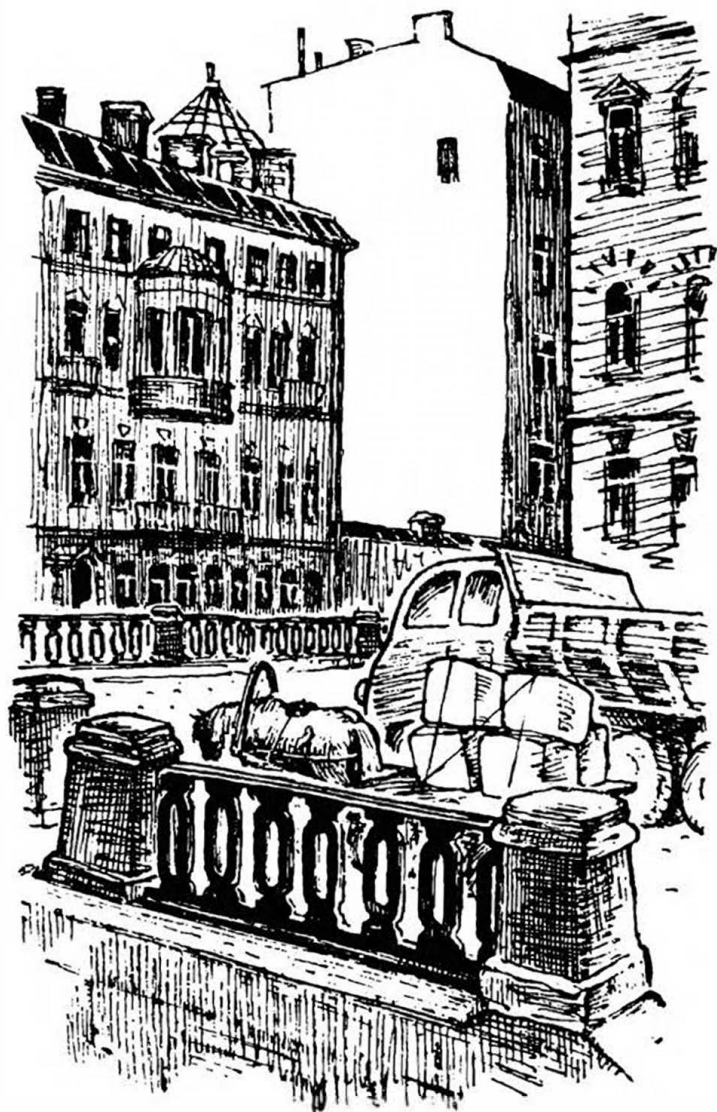




СЕРГЕЙ ВОЛЬФ

**МОЙ БРАТ-
БОКСЕР**
и ласточки





**СЕРГЕЙ
ВОЛЬФ**

**МОЙ
БРАТ-
БОКСЕР**

и ласточки

ПОВЕСТЬ



**ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА“
ЛЕНИНГРАД
1966**

Хорошо, когда у тебя старший брат — боксер, да еще не просто боксер, а чемпион города. Алеша вместе с ребятами из своего класса ходит на матчи, болеет за брата. Но вот что-то случилось с братом, он перестал замечать Алешу, попросту забыл о нем. . .

Отзывы и пожелания о книге присылайте по адресу: Ленинград, Д-187, наб. Кутузова, 6. Дом детской книги издательства «Детская литература».

Рисунки
В. Нуприянова

А МЫ ЖИВЕМ ХОРОШО

«Здорово, пап!» — написал я на чистом белом листе бумаги и посмотрел в окно — на воробья; воробей улетел, а на листе осталась здоровая клякса. Ужасная кляксыща! Сам виноват, вечно засуну куда-нибудь свою поршневую авторучку, а куда — неизвестно. Хорошо еще, что я не успел ничего в письме нарисовать; у меня такая привычка — рисовать в письмах, от первого класса осталась, от глубокого детства. Смешно, правда? Хотя мне это здорово нравится: иногда такое пририсуешь, чего словами никогда и не скажешь. Папе я решил изобразить дремучую тайгу и их городок, который они там строят, ну, как я это себе представляю... Я захотел представить все поточнее, и поэтому еще раз взял и прочел папино письмо.

«Здравствуй, Леха! — было написано там. — Как вы поживаете? Я получил твое письмо и мамино, а от Ишки — ничего. Скажи ему, что я на него сержусь. Мне без вас бывает скучно, скажи ему это. Вот так вот. Помнишь, когда я уезжал, я говорил вам, что скоро вернусь? Это правда. Теперь-то ты понимаешь, что я совсем скоро вернусь. А завтра останется еще меньше ждать. Всего какой-то квартал. А ты знаешь, что такое квартал? Скажи Ишке и маме, что я им посылаю по письму, каждому отдельное письмо.

Как там ваша зима? Еще не капает с крыш? А у нас здесь минус тридцать. У меня усы все время белые, в снегу. Вернее — в инее. Войдешь в дом — тогда оттаивают. А если, когда оттают и вода по усам потечет, вы-

скачишь на мороз, получают сосульки. Нарисуй меня с сосульками.

Городок наш растет. Но со стороны, когда просто стоишь на «улице», вроде бы ничего не меняется. Дома трехэтажные, и из-за них не видно других, новых домов. Тайга помаленьку отступает, и появляются новые дома, и вот ты стоишь, сзади тебя, совсем рядом, тайга, а впереди — трехэтажный дом, и за ним не видно дома, который ты построил вчера; вроде бы все по-прежнему, но мы-то знаем, что наш городок растет. Запомни, здесь все люди очень хорошие. А те, которые плохие, либо уезжают, либо меняются и становятся лучше. Тебе бы сюда тоже не мешало приехать ненадолго, хотя ты у меня вроде ничего, ну, на всякий случай, для профилактики. Может, мы и махнем сюда с тобой летом. Здесь в ручьях форель водится и хариус. А еще здесь полно медведей, но они сейчас спят. Все время, и ночью и днем. А белки — только ночью. А днем они скачут по всем деревьям, правда, очень симпатичные, рыжие. А еще здесь небо синее-синее, такое синее!

Ну, я прощаюсь с тобой. Учись как следует, не огорчай маму и всякое такое, ну, ты знаешь...

Вот тебе мое рукопожатие.

Только не жми слишком сильно, это успеется, пока учишься.

По вечерам мы здесь совсем одни в огромной тайге, но это не страшно.

До встречи.

Твой папа».

Во какое письмо!

Законный все-таки у меня папка, первый сорт!

И я начал писать ему ответ:

«Здорово, пап! Ты не сердись, что письмо с кляксой, — это я специально посылаю с кляксой. Я поглядел на воробья в окне, и она капнула. А ты погляди на кляксу и представь, что я сижу дома и гляжу на воробья в окне, а она в этот момент капает. А он улетает, ленинградский воробей. У вас там, наверное, другие воробьи? Или их нет?

Рисунок я сделаю на другом листке, на чистом. Рисунок с сосульками. Только я стал худо рисовать, ты

сам увидишь, — хуже, чем в первом классе; не так ярко, сам не знаю почему. А если у вас там и правда медведей навалом, привези одного... ну, медвежоночка. Будет жить у нас, с соседями я поговорю, или в школе, а потом в зоопарке. Да, напиши еще, что такое «профилактика», я чего-то не понял. А мы живем хорошо...»

ДЛИНА ОДНОЙ ГИ

— Георгий Анисимович, — говорю я и чувствую, как во мне что-то сжимается и падает, а весь класс сейчас — я это знаю — смотрит на меня. Можно еще постоять так вот молча, можно даже подумать о чем-нибудь другом, но я все равно знаю, что я скажу и все остальное. Через секунду или две, но скажу.

Однажды мальчишки в деревне привели меня на речку. Все подряд, один за другим, они залезали на большую, склоненную над водой черемуху и прыгали вниз, в воду. Я полез последним. Я говорил им, что уже прыгал, что я умею, вот увидите, — но это была неправда. Я думаю, если бы я не соврал, я бы все равно прыгнул.

Я лез на черемуху, я лихо перехватывал руками ветки и почему-то думал о маме; сейчас обед дома, так хорошо сидеть в одних трусах в прохладной избе; еще я думал про папу, про брата Ишку, про дядю Леву, про всех родных и знакомых. Я думал и лез, и было очень страшно, и я знал, что придется прыгать. Я стоял высоко над водой, держась обеими руками за ветки, и чувствовал, что все ребята внизу смотрят на меня, на городского, что мне нужно тоже посмотреть на них, а потом крикнуть, как они: «Эх-ма!» — или что-нибудь еще и броситься вниз. Я стоял и боялся смотреть на них; я смотрел на другой берег, на желтую полоску песка; я думал, что там, на той стороне, наверное, никого нет и полно грибов, я думал про маму и чувствовал, что нужно прыгать, что вот я уже отпустил ветки, ноги дрожат, вот я прыгаю, еще думаю про маму, а сам прыгаю; ведь это я прыгаю, я.

Мне долго еще, когда я вылез из воды, казалось, что это прыгал кто-то другой и кто-то другой крикнул: «Эх-ма».

— Георгий Анисимович, — говорю я, — я урок не выучил.

Я слышу, как класс зашевелился, ожил, застучали крышки, кто-то хихикнул. Все, наверное, смотрят на меня. А я смотрю в одну точку на стене, поверх головы нашего учителя арифметики. Картина называется «Грачи прилетели». Я смотрю то на картину, то в окно. В школьном дворе за окном — большой тополь. Хотя окно закрыто, я слышу, как кричат грачи. Сегодня 1 марта. Они уже с неделю как прилетели, а я только сегодня заметил. Я вспоминаю, как однажды, только не в этом году, когда точно не помню, нам задали сочинение на тему «Грачи прилетели», по картине... Я написал, что весна мне нравится, а церковь — нет, что мне больше нравится стадион. У нас была тогда другая учительница по русскому. Молодая. Она сказала, что мысль правильная, но все равно тройка: много ошибок.

— Что случилось, Пряжников? — говорит Георгий Анисимович. — Второй раз подряд не приготовил урок. Может, тебе что-нибудь непонятно?

— Да нет, — говорю я.

— А в чем же дело?

Я молчу.

— Ты хоть прочел задачу?

— Да, — зачем-то вру я.

— Ну, какое, по-твоему, первое действие?

Я слышу, как начинают подсказывать. Что подсказывают, не разобрать, да я и не стараюсь. Рсгалев сзади тянет меня за рубашку. «Зачем? — думаю я. — Все равно ведь обернуться нельзя. Вот дурак». А он тянет и тянет. Я осторожно отвожу руку за спину и сильно шиплю его за палец. Венька вскрикивает.

— Ну? — говорит Георгий Анисимович.

Мне хочется сказать, что я не знаю, но я почему-то произношу:

— Первое действие будет: какова длина одной ги? Все смеются.

— Одной чего? — спрашивает Георгий Анисимович.

— Одной ги. Га, — говорю я.

— Га не склоняется, — слышу я голос Георгия Анисимовича, и мне почему-то вдруг становится легче. — Разве у тебя по русскому тоже нелады?

— Нет.

— Сколько по русскому?

— Четыре.

— Вот тебе и раз. Ги. Га и есть га. Не склоняется. Как кино.

— Как пальто, — говорю я.

— Верно.

— Как домино, — добавляю я и первый раз смотрю на Георгия Анисимовича.

Он улыбается.

— Вторую двойку я тебе ставить не буду, — говорит он, — слишком уж много, — и добавляет, но очень строго: — И больше двоек не получать! Понятно?

— Понятно, — говорю я.

— И сегодня в три обязательно зайди ко мне домой.

— Понятно, — говорю я.

Звенит звонок. Мы выбегаем из класса.

— Эй, ги! — кричит Венька.

— Вот что, — говорю я ему, — еще раз дернешь за рубашку, дам в глаз.

Валерка Бурцев машет рукой у меня перед лицом, я вздрагиваю.

— Сайка! — хохочет Валерка и бьет меня по плечу. Мы несемся по коридору.

САЙКА

Что такое сайка? Я думаю, это всякий знает. Подходит к вам какой-нибудь человек, например Валерка Бурцев, махнет у вас перед носом рукой, вы, понятное дело, пугаетесь; раз испугались, — значит, сайка. Сайку делают так: ставят вам к плечу ладошку, самыми кончиками пальцев, потом пальцы ослабят и — хлоп ладошкой в плечо! — сайка за испуг.

Мне не нравится, что Валерка делает мне сайки. Только я не хочу, чтобы он махать руками перестал, я хочу, чтобы я не вздрагивал. Тогда он и махать пере-

станет. Вообще я хочу, чтобы ни от чего не вздрагивать. И ничего не бояться. Нас учителя в школе за сайки ругают. Говорят, что это некрасиво. Это, наверное, так, но все равно, сайка — это справедливо. Не бойся. Даже самого неожиданного. Когда я стоял на верхушке черемухи, мне было страшно. Если бы ребята внизу знали об этом, они могли бы дать мне сайку. Это было бы справедливо. Они, я думаю, так и не узнали, что я трусил. Но мне этого мало. Я бы хотел вообще не трусить. Чтобы никаких не было саек — ни тех, которые дают, ни тех, которые могли бы дать.

Я сижу дома один. Мама еще не вернулась с работы, а Ишка в институте. Задача наконец получилась; я возьму тетрадку с собой, к Георгию Анисимовичу, чтобы не так бояться. Мне и боязно идти, и хочется. Там, в квартире Георгия Анисимовича, живет одна девочка; я бы хотел еще раз с ней поговорить. Она, наверное, не знает, что я трушу с ней разговаривать, а то бы могла сайку мне дать. Только, мне кажется, ей безразлично, трушу я или нет, хочу или не хочу с ней поговорить, и на сайку ей наплевать.

— Чего размечтался? — говорит Ишка. Я и не заметил, как он вернулся.

— Ухожу, — говорю я.

— Куда?

— К Георгию Анисимовичу.

— Это зачем?

— Я арифметику не выучил. Велел прийти.

— А почему?

— Нипочему, — говорю я. Мне не нравится, как он со мной разговаривает. Раньше, пока он на фабрике работал, этого не было. Непонятно как-то.

— Матери скажешь? — спрашивает Ишка.

— Нет.

— Боишься?

— Нет.

— Боишься.

— Не боюсь. Я ее расстраивать не хочу.

— Поставь чайник.

— Ишь ты начальник, — шучу я. Мне не хочется, чтобы он был такой.

— Поэт, — говорит брат. — Иди поставь. Я устал.

— Ладно, — соглашаюсь я.

Я иду по улице и думаю про Георгия Анисимовича, про девочку из его квартиры и про Ишку.

Сначала про Георгия Анисимовича. Что мне сказать ему? Врать не хочется, но сказать правду я не могу. Не могу, и все. Придется врать. Я думаю, что бы мне такое соврать, чтобы он не подумал, что я вру. Я буду врать ему, а он будет смотреть на меня, слушать и всему верить. Противно. Не люблю я врать. Вру иногда, но надо отучаться. Вот совру сегодня последний разок и больше не буду. Может, когда и придется, но лучше поменьше. Отучаться надо. Если бы девочка знала, что я вру, она бы мне руки не подала, она бы решила, что я трус, и сделала бы мне сайку. Лучше не врать. Вообще не врать. Никогда. Сегодня в последний раз. Сегодня это необходимо. А так больше не буду. Хотя она все равно мне руки не подаст. Она такая.

Я помню, как я в первый раз пришел к Георгию Анисимовичу. Это еще осенью было. Мне завуч велела, чтобы я ему тетрадки отнес. Я позвонил в звонок, и мне открыла какая-то девочка.

— Ты чего так громко звонишь? — спрашивает.

— Мне Георгия Анисимовича, — сказал я. — Я ему тетрадки принес.

— Его нет, он в булочную пошел. Скоро придет. Давай я передам.

— Нет, — сказал я. — Я сам.

— Ну и глупо, — сказала она.

— Я его немного обожду, можно? — спросил я.

— А мне-то что, лестница не моя. Жди.

«Ох, — подумал я, — что это я глупости говорю?» Наверное, у меня вид был такой — глупый и растерянный, потому что она сказала:

— Можешь посидеть на кухне.

Я так ничего и не понял, вошел в кухню, сел на табуретку и сижу. И она сидит.

— Тебе, наверное, противно, что я здесь сижу? — вдруг ни с того ни с сего ляпнул я. Что со мной случилось?!

— Пожалуйста, мне все равно, — сказала она.

И вдруг мне в голову одна мысль пришла.

— Ты врешь, что тебе все равно! Ты тогда для чего здесь сидишь?!

— Сижу и сижу. Не твое дело.



«Ага, — подумал я, — попалась!»

— Ты, наверное, боишься, что я чего-нибудь украду, — сказал я.

— Я боюсь?!

— А кто же, я, что ли?



- Да я тебя ни капельки не боюсь.
- А что бы ты сделала?!
- Я?!
- Нет, я.
- Да я бы тебе по шее и в поддыхало...

«Ну и девчонка», — подумал я.

— ...я бы тебе подножку сделала, я бы тебя пова-
лила, я бы вызвала милиционера...

— Трусиха! — сказал я. — Милиционера.

— Ну ладно, без милиционера. Я бы тебе руки свя-
зала, я бы...

Носик у ней вздернулся. Такой кругленький, хоро-
шенький, как орешек. Вся румяная стала, синий бант
так и прыгает, так и скачет на ее голове. Никогда рань-
ше я не видел таких девочек. Не знаю, что на меня
нашло в тот день, но я вдруг встал с табуретки и
сказал:

— Позволь, я тебя поцелую.

Я думал, что она меня ударит, или заплачет, или
еще что-нибудь, но она вдруг сказала такое, та кое
сказала, чего я себе и представить не мог. Она сказала:

— Не позволю. Ты мне не нравишься.

Сказала и ушла.

Я сидел один в этой кухне, и было мне так, будто
меня раскрутили изо всех сил и бросили неизвестно
куда. Я только тогда и пришел в себя, когда Георгий
Анисимович вернулся. Я отдал ему тетрадки и, уходя,
спросил:

— Как вашу девочку тут зовут?

— Гога.

— Как??!

— Гога.

— Гогочка! — сказал я. — Поразительно!

— Нет, она Галя, а когда была маленькая, ее звали
Гога.

— Просто удивительно, — сказал я, — гогочка!

— Гогочка! — повторял я, уходя. — Вот это да!

Я хорошо знал, что она вовсе не такая. Мне даже
нравилось, что ее так непохоже зовут. На другой день
я искал ее по всей школе, и еще три дня, но так и не
нашел. А сегодня я ее увижу. Что бы такое соврать
Георгию Анисимовичу, почему я арифметику не сделал?

Я начинаю думать об этом, но вдруг замечаю, что
думаю вовсе о другом. Я думаю о брате Ишке. Что
с ним случилось такое? Он так теперь со мной разгова-
ривает, будто я не брат ему, а дальний родственник.
Мне это не понятно. Мне нравится Ишка. Я хочу брать
с него пример. Он ничего не боится. Он такой смелый

человек. Уж ему никто не даст сайку. Я хочу быть на него похожим. Вчера он стал чемпионом Ленинграда по боксу. В институте учится. Чудо, а не брат. И вдруг так со мной разговаривает. И с мамой. Как это может быть?

Я вхожу во двор Георгия Анисимовича. Вот его парадная. Что же мне сказать ему?

Я поднимаюсь по лестнице. Вот сейчас постою перед дверью, подумаю, а потом уже позвоню.

Я ему скажу, что...

Дверь открывается.

— Входи, Алеша, — говорит Георгий Анисимович. — Я тебя увидел в окно и вышел встречать. Я только потом вспомнил, что ты, может, забыл мою квартиру. Не забыл?

— Нет, — говорю я.

ЛИДА, ЛИДИЯ

Пока я снимаю пальто и галоши и приглаживаю ладошкой волосы и прямо дрожу от волнения, Георгий Анисимович спокойно наливает чай себе и еще кому-то и раскрывает мою тетрадку.

— Что ж, правильно решил, — говорит он. — Садись чай пить.

— Это мне?..

— Садись, садись.

Я сажусь. Ложечка дрожит у меня в руке, сахар так и сыплется на скатерть.

— Все верно, молодец. А почему к уроку не был готов?

Правильно говорят, будто самые хорошие решения — это те, которые принимаются сразу. Уж это точно.

— У меня брат вчера стал чемпионом Ленинграда по боксу, — начинаю я, еще не зная, что скажу дальше...

— Ну да? Поздравляю, — говорит Георгий Анисимович.

Дальше все вдруг идет легко и просто.

— Вот и его поздравляли, — говорю я. — Знаете, сколько гостей нашло. Человек двадцать. Целый бал

устроили. Я ведь не знал. Я думал, вечером уроки сделаю, а они пришли. (Как легко и приятно врать, даже противно. Ишка бы так не смог. Наверняка.) Гости ведь, их не выгонишь.

— Безобразие, безобразие, — говорит вдруг Георгий Анисимович. — Тебе же заниматься надо, разве нельзя было брату подождать до субботы?

— Не знаю, — говорю я, сбитый с толку.

Вот и доварлся. Я думал, он скажет: ну, ладно, мол, смотри учись хорошенько — и все, а тут еще выходит так, будто мама и Ишка виноваты. А правду я сказать не могу.

— Не знаю, — говорю я.

— Лида! — кричит Георгий Анисимович. — Иди сюда.

Дверь из соседней комнаты открылась, и вошла девушка. Когда я ее увидел, со мной что-то произошло. Я сидел и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой и глядел на нее во все глаза. Дело не в том, что она была какая-нибудь необыкновенная или просто понравилась мне. Дело было в чем-то другом, а в чем, я не знал. Просто со мной что-то случилось. Будто и мама, и Ишка, и папа, и дядя Лева, и Семка, Ишкин друг, и я, и Валерка Бурцев — давно знаем эту девушку, только давно не видели и даже забыли, как ее зовут.

— Это мой ученик, Алеша Пряжников, — сказал Георгий Анисимович, — а это моя дочка Лида.

Она протянула мне руку, я ей свою, но даже не встал, просто не смог.

— Сиди, сиди, — сказала она.

Если бы она знала!

— Понимаешь, Лида, — сказал Георгий Анисимович, — у него брат стал чемпионом Ленинграда по боксу.

— Вот как? — сказала она.

— Да, — сказал я.

— У них дома вчера целый бал устроили по этому случаю, и ему даже заниматься было негде. Он арифметику не приготовил.

— Забавно, — сказала она. — Бокс?

— Да, — сказал я.

— Сходи с ним, пожалуйста, Лидочка, и поговори с братом. Так же нельзя.

«Можно! — захотелось крикнуть мне. — Можно!» Но я даже не пошевелился. Я совсем не знал, что

мне делать. Я про все забыл: и про Гогу, и про то, чтобы узнать у Георгия Анисимовича, как он думает, смогу ли я получить четыре в четверти, про все. Я знал только одно: если она пойдет ко мне домой, будет плохо.

Все время, пока я надевал пальто и галоши и пока одевалась она, а Георгий Анисимович снова пил чай и, по-моему, снова что-то говорил про мою задачу, я думал, как же мне быть. Потом Георгий Анисимович прощался со мной, а я все думал. И на лестнице я думал. И когда мы вышли из дома, и на улице. Все время.

— Ты что, тоже собираешься стать боксером? — вдруг спросила она.

— Да.

— Ну и глупо, — сказала она и засмеялась.

— Да, — сказал я.

— Зачем же это делать, если сам знаешь, что глупо?

— Да, — сказал я.

— Что «да»?

— Что?

— Фу! — сказала она. — С тобой необыкновенно скучно разговаривать. И вообще ты похож на испуганного зайца.

— А ты на лебедя.

— Ух ты, мой зайчоночек, — сказала она.

— Послушай, Лидя, — вдруг громко, так громко, что я даже вздрагиваю, говорю я и останавливаюсь.

Она оборачивается.

— Лидия, — говорит она.

Прохожие смотрят на нас.

— Послушай, — говорю я, — мне надо тебе что-то сказать. Я хочу тебе сказать, что... Понимаешь, Лидя...

— Лидия, — говорит она.

— Давай сядем, Лидия.

Мы переходим улицу и садимся в сквере на скамейку.

— Зови меня всегда Лидия, — говорит она.

Я смотрю на нее и вдруг понимаю, что только так я ее и буду звать всегда.

— Меня никто иначе не называет, — добавляет она. Она не врет, я это знаю; Георгий Анисимович не в счет, он сам по себе.

— Что ты мне хотел сказать? — спрашивает она.

— Только ты должна пообещать, что не скажешь никому ни слова, — говорю я. — Никому, ясно?

Она кивает, и я даже не прошу ее поклясться мне.

— Слушай, — говорю я. — Я поспорил с Валеркой Бурцевым на американку, что за два месяца научусь играть на трубе «Поезжайте на трамвае «А», которую играет сам Глен Миллер.

Лидия не спрашивает, зачем было спорить и для чего мне вообще это надо. Она слушает внимательно и только кивает головой.

— Я исполню «Поезжайте на трамвае «А» на весеннем вечере старшеклассников. Валерка сказал, что у меня нет слуха и воли.

— А что ты потребуешь от него, когда выиграешь?

— А ты уверена, что я выиграю?

— Уверена.

— Тогда заберу у него обратно мой складной нож.

— А еще?

— Месяц будет выносить за меня мусор во двор.

— Это жестоко.

— Пусть не говорит, что у меня нет воли.

— Так... Ну, а еще?

— Пока не придумал. Что-нибудь полегче. Например, килограмм мороженого.

— Зачем так много?

— Мы пойдем с тобой вместе, хочешь?

— Пойдем, — соглашается она. — Откуда только у него деньги на мороженое?

— Это не мое дело. Пусть не болтает языком. «Воли нет». Видали?! Знаешь, я играю на трубе каждый день. Мой дядя, дядя Лева, дал мне трубу, он мастер музыкальных инструментов и сам играет. Он мне ноты написал и какую как брать.

— Это же, наверное, очень громко. Где ты играешь?

— На заднем дворе. В сарае. Теперь у нас паровое, но сарай не снесли. Мне один парень — слесарь — ключ сделал, а трубу я под корзину прячу, если вдруг кто зайдет.

— Все равно ведь громко, наверное?

— Не-а. Я потише стараюсь. А там еще стена небольшая, а за стеной — фабрика-прачечная, такой шум оттуда, что меня и не слышать.

— Я приду к тебе туда как-нибудь, можно? — спрашивает Лидия.

— Да, только потихонечку, — говорю я. Я жду, когда она меня спросит, зачем я ей все это рассказал, но она молчит, и тогда я сам спрашиваю ее:

— Ты знаешь, зачем я тебе рассказал про все?

— Знаю, ты мне веришь... разве нет?

— Да... но, — говорю я, — но ведь я там вчера сидел. Я там был, понимаешь? Заигрался и просидел весь вечер. Поэтому и арифметику не выучил. А не потому...

— Та-ак, — медленно произносит Лидия. — Скажи, а у тебя брат кто, боксер?

— Да! Это да! Это все правда. И то, что он чемпионом стал. Но никакого бала не устраивали, я наврал Георгию Анисимовичу.

Лидия молчит. Долго молчит.

— Лидия, — говорю я, — ты зря...

— Нет, не зря! Ты просто трус! Ты боишься, что брат про все узнает, что ты наврал. Так бы ты и не сказал мне про трубу.

— Нет, я не трус, — уговариваю я ее. — Зря ты. Я правда не хочу, чтобы брат про все узнал, но сама подумай, — я ведь мог бы тебе сказать, что никакого бала не устраивали и что-нибудь еще наврать, а про трубу вовсе и не говорить.

Я смотрю на Лидию, верит она или нет.

— Лидия, — начинаю я.

— Ну, тогда ты врун, — наконец говорит она. — Папё соврал... — и чуть улыбается.

— Это верно, верно, — соглашаюсь я. — Только я в последний раз. Куда же мы теперь пойдем? — добавляю я, чтобы больше не говорить об этом.

— К тебе домой.

— Зачем же теперь?! Ведь бала-то не было. А?

— Пойдем. Не бойся. Брат дома?

— Да.

— Пойдем. Я никогда в жизни не разговаривала с настоящим боксером.

ГРЯЗНЫЕ РУКИ И ЧИСТОЕ БЕЛЬЕ

Ишка входит в комнату сияющий и торжественный.

— Вот, — говорит он, — принес... — и кладет на стол аттестат зрелости. — Получил.

Аттестат зрелости! Зрелости! Слово-то какое! Мне до этого аттестата еще ого сколько.

Мама целует Ишку в щеку, улыбается, папа смеется и хлопает его по плечу. После они вдвоем — папа и мама — уходят на кухню. Я выхожу за ними. Мы вместе лезем в дальний угол старого комода и достаем отрез на костюм и новенький кожаный бумажник — подарок Ишке.

Я вижу, как мама тихонечко утирает слезы.

Это было два года назад.

Тогда я совсем не понимал, почему плакала мама. Чего же плакать? Радоваться надо. Теперь, кажется, я маленько понимаю.

Папа мне рассказывал, как было, когда война кончилась. Огромная колонна солдат возвращалась пешком в Ленинград. Они шли по городу в дикую жару, черные от войны и солнца. На Театральной площади, на деревянном высоком помосте стояли артисты в старинных костюмах. Жара была ужасная. И когда показалась колонна солдат, артисты запели песню из оперы «Иван Сусанин» — «Славься, славься, родная земля!» А солдаты все шли и шли, а артисты все пели и пели, обливаясь от жары потом, и плакали, потому что солдаты вернулись. А некоторые люди, которые встречали солдат, вдруг вскрикивали и бросались в колонну и дальше шли с колонной, потому что встретили кого-то из своих. И мама тоже так встретила папу. А люди кругом все плакали. Чего они плакали? Я не могу это толком объяснить, но как-то понимаю. Они радовались. И все смеялись. А те, у кого никто не вернулся с войны, те все равно тоже смеялись. Плакали и смеялись. Чего они смеялись? Они тоже радовались. За других.

Вот и мама, когда Ишка аттестат принес, смеялась и плакала. Я, конечно, понимаю: на войне воевать или в школе учиться — вещи разные, но ведь мама — я сам

слышал, как она это соседке говорила, — одиннадцать лет за Ишку болела и переживала. И папа тоже, само собой. Это дело не шуточное. Они, наверное, теперь за меня болеют и переживают. Мама плакать еще будет, когда я школу кончу. Это не скоро, конечно, но я все равно не хочу. Зачем ей плакать?

Аттестат у Ишкн был одно загляденье — красивыми буквами: «Игорю Пряжникову» — и отметки. Троек не было. А мама все равно плакала. Как подумаю про себя, так прямо школу кончать не хочется.

Но оказалось, что пока Ишке аттестат ни к чему. Чтобы в институт поступить, кроме аттестата, еще нужно голову иметь и стаж. А стажа у Ишки не было.

Рядом с нашим домом есть фабрика. Фабрика-прачечная. Мама там в лаборатории работает.

Ишка тоже стал на этой фабрике работать, слесарем. Конечно, его сначала учили, а потом уж он и сам стал слесарем. Дело серьезное. Не надо думать, что раз прачечная, то уж, значит, ерунда какая-нибудь. Это вроде как завод, где из грязного белья делают чистое.

В обед Ишка всегда домой прибегал. Грязный весь, и лицо и руки. Помоеся кое-как, поест — и бегом обратно. Прибежал и убежал, будто и не было его. Только таз с водой остается, где он мылся. А вода грязная, просто черная. Все от его рук. Я, когда к маме на фабрику бегал, прямо поражался — целые горы белья, белье белое, чистое, как снег. А у Ишки руки чернее черного. Как это может быть? Ведь он тоже к этому чистому белью отношение имеет. Тоже все делает для того, чтобы оно было белым и чистым, как снег. Я вначале поражался и не понимал. А потом стал понимать. Белье оттого и становилось чистым, что Ишка грязный. Но все равно поражался.

Ишку все хвалили. Он способный был. Во всем. Иногда мы с ребятами залезали на наш сарай, потом на кирпичную стенку и сидели. Не очень высоко, но приятно. Внизу — по ту сторону стены — двор фабрики-прачечной. Со двора всегда шум идет. Ничего почти не слышно. Но иногда через весь шум фабричный громкоговоритель говорит:

— Товарищ Пряжников, зайдите к главному механику.

Это Ишку просят зайти. Все ребята мне завидовали. Они ничего не говорили, но я знал.

Иногда Ишка сам появлялся во дворе. Они всегда с Семкой, его приятелем, тоже слесарем, выходили покушать...

Но вдруг Ишка бросил курить. Оказалось, что он способный боксер. А настоящие спортсмены не курят. Все говорили Ишке, что боксом заниматься поздно. А он сказал «нет», пошел и доказал. Через два года он получил первый разряд.

— Все, — сказал он однажды дома. — Хватит. Аттестат есть, стаж есть и разряд есть. Можно в институт.

Я не понял, при чем здесь разряд, здесь голова еще нужна, и она у него есть; правда, про себя так говорить неудобно, но при чем здесь разряд? Мама улыбнулась.

— Нос не дорос, — сказал мне Ишка, — потому и не понимаешь.

Первый раз он со мной так говорил, первый раз! Он и раньше говорил «нос не дорос», но говорил так, будто хотел сказать: «Все объяснять тебе приходится» — а в этот раз сказал так, что я понял: «Не суйся не в свое дело».

— Что ж, попытайся, сынок, — сказала мама.

Ишка пошел и доказал, что все может. Его приняли в кораблестроительный институт.

Теперь Ишка будет строить корабли. Мой брат будет строить корабли. Конечно, руки теперь у него не бывают такими грязными и он не делает на фабрике из грязного белья чистое (а ведь мама говорит, что когда у людей чистое белье — это великое дело).

В институте Ишка снова стал курить. Вообще этого делать нельзя. Ни под каким видом. Но ведь стал он чемпионом города? Тоже непонятно.

Но самое непонятное, почему он со мной так разговаривает? Может, он просто вырос и ему не до меня, поэтому? Может быть...

Семка у нас стал реже бывать.

Однажды они с Ишкой разругались. Интересно, о чем с Ишкой будет говорить Лидия? Ведь они же незнакомы.

И тут я вспоминаю про Гогу.

...ПЯТЬ, ЧЕТЫРЕ, ТРИ, ДВА, ОДИН. СТАРТ!

Да, вспоминаю про Гогу. Иду и думаю про Гогу. Не знаю почему. Наверное, потому, что Лидия все поняла все-таки и теперь об этом можно не думать.

Я думаю про Гогу, и про то, что я так и не увидел ее сегодня, когда был у Георгия Анисимовича, и про то еще, что сейчас надо бы спросить у Лидии, где же Гога, но я почему-то не спрашиваю об этом, а просто думаю про Гогу и про те три дня, когда я искал ее по всей школе, но так и не нашел.

Тогда я дождался около учительской Георгия Анисимовича и спросил у него:

— Георгий Анисимович, помните, у вас там в квартире есть девочка, Гога, так я хотел бы узнать, в каком именно классе она учится, чтобы привлечь ее по пионерской работе.

— Ну да? — сказал он. — Ничего не выйдет. Она учится в пятом классе, но вовсе в другой школе.

— А-а, — сказал я. — Ах, вот как! Потрясающе! — и замолчал, потому что спрашивать, в какой же она учится школе, уже было нельзя: все равно ведь не объяснишь, зачем это девочку из другой школы нужно привлекать по пионерской работе.

— Ну, впрочем, привлеки, — совершенно неожиданно сказал Георгий Анисимович. — Вот тебе номер ее школы, а вот и фамилия. — И он назвал номер ее школы и фамилию.

— Да нет, чего там, — сказал я. — Далеко ходить. У нас своих хватает играть на баяне. (Вот дурак-то! Вот ляпнул!) Я думал, она тут, рядом, а так — нет...

— Отчего же, — сказал он. — Возможно, ей совершенно необходимо научиться играть на баяне, ты сходи. А я ей ничего не скажу — будет сюрприз.

— Посмотрим, — сказал я. — Дел у меня и так пропасть.

Ну, скажу я вам, потом я просто извелся. Поверите ли, я ужасно боялся пойти к ней в школу. Одно дело — просто так встретить человека, случайно, и совсем другое — специально пойти к нему. Да и что я скажу ей? «Здрасте», да? Ну, «здрасте», ну и что? А что же дальше? Неизвестно. А пойти мне здорово хотелось.

Только не надо думать, что я там влюбился в нее и всякое такое, ничего подобного, просто она была очень замечательная девчонка — это, я думаю, сразу видно.

Целую неделю я носился со всякими соображениями и ничего особенного не придумал, придумал только, что один я туда ни в какую не пойду.

— Валера, — сказал я Бурцеву. — Знаешь, у меня тут есть в соседней школе одна девчонка, ну, немного знакомая, так у нее разных значков — навалом. Пойдем, а?

— Да? — сказал Валерка равнодушно. — Это не-безынтересно.

Я ужасно обрадовался, что он сразу же согласился, иначе было бы просто непонятно, за ради чего я его уговариваю. И еще я подумал, что, когда мы увидим Гогу, я обязательно скажу ей, не хочет ли она приходить к нам в школу по пионерской работе. Конечно, здорово, если она скажет «да», но я об этом и не мечтал, лишь бы она про это запомнила, а то еще скажет Георгию Анисимовичу, что я приходил, а про пионерскую работу ни слова — и он поймет, что я ему врал.

— Валера, — сказал я. — Ты только не обращай внимания, что я сначала не про значки буду говорить, а про что угодно. А то она еще загордится и с тобой меняться не захочет.

— Ладно, — сказал Валерка. — Ты делай как хочешь, лишь бы она стала меняться.

«Ох, и эгоист же я! — подумал я про себя. — Ведь нет, нет у Гоги никаких значков. Ну и дрянь я — так обманываю Валеру». Но не мог же я пойти один! Глупо даже и думать. Я решил, что только перед самой Гогиной школой скажу Валере, что вообще-то значков может и не оказаться, это не она сама мне про значки говорила, я от других слышал. Именно, скажу это перед Гогиной школой, а то он еще совсем не пойдет.

В общем, в субботу мы пошли. Как раз очень удобно получалось — у нас всего четыре урока в субботу. С нами еще Лялик Яновский пошел, он наш центр защиты и левый край нападения — когда как, по настроению. Что надо футболист. Даже не ясно, как это могло получиться: он такой тихий, неподвижный и молчаливый человек. А сегодня его прорвало.

— Да-а, — сказал он.

— Чего, чего, Лялик? — спросил Валерка.

— Идея, — сказал Лялик.

— Какая?

— Одна.

— Скажи.

— Хм.

— Нет, правда!

— Ух!

— Потрясающая?

— О-о! Еще бы!

Ишь как разошелся.

— Ну, чего, чего ты?! — заорал Валерка. — Говори!

— Значит, так, — сказал Лялик. — Берем старинную раму от старинной картины и вешаем ее на окно, чтобы через дырку видна была улица, а окно, кроме места за дыркой, закрываем обоями, чтобы было как стена. Все. Будет необыкновенная картина. Все.

— Здорово! — сказал я.

— А как окно заделать? — спросил Валерка. — Как?

— Все, — сказал Лялик.

И замолчал. И все. Слова от него теперь не добьешься. Вот всегда он так. Просто поразительно! И когда в футбол играет. Ходит чего-то по полю, ходит, вроде бы даже каким-то другим делом занят, и вдруг как побежит, побежит — и гол. И в школе так. К нему уже даже учителя привыкли. Когда вызывают, не пристают, чего он молчит. Он молчит-молчит, а после сразу, что надо, ответит или задачу решит.

— А мне чего-то попутешествовать охота, — сказал я. — В Эфиопию там съездить, в Боливию...

— Во ляпнул! — сказал Валера. — Эфиопия-то в Африке, а Боливия где? Где Боливия-то?

— А я ничего и не говорю! — сказал я.

— Боливия-то в Южной Америке, — сказал Валера. — Знать пора.

— А кто говорил, что они обе в Африке? — обозлился я. — Никто этого не говорил. Просто мне охота поехать по разным странам... Перу... Чили...

— Ага, — сказал Валера. — Это другое дело. Вообще, братцы, замечательно жить на свете!

— Точно, братцы! — сказал я. — Изумительно!

— Я, когда совсем шкетом был, — сказал Валера, — думал, что вырасту и стану поваром. Теперь дудки...

— А теперь кем? — спросил я.

Лялик сказал:

— Пришли.

Я забыл про свой вопрос, я жутко разволновался и посмотрел наверх, на школьную вывеску — школа была та самая. Я вдруг почувствовал, что совершенно не могу встретиться с Гогой, и тут, как назло, зазвенел звонок, — наверное, пятый урок кончился, и из школы стали выбегать мальчишки и девчонки.

— Не эта? Не эта? Не эта? — спрашивал Валерка.

А я только качал головой из стороны в сторону. Поверите ли, я так разволновался, что качал головой из стороны в сторону все время, даже когда Валерка ничего не спрашивал. Мы простояли так минут десять, все ребята разошлись, но Гога так и не вышла.

— Может, она сегодня промотала? — сказал Валерка.

— Может быть, — сказал я. — Пошли.

— Ну да, пошли, — сказал Валерка. — Еще чего! Может, у них шестой урок или дополнительные, — пойдй узнай.

— Сам пойдй, — сказал я.

— Да ты что? — сказал Валерка. — Да я ее и в глаза не видел. Иди-иди.

— Вместе пошли, — сказал я.

По ступенькам мы поднялись в пустой вестибюль, и я спросил у нянечки:

— Пятый «в» ушел?

— Нет, — сказала она. — Они через черный ход пошли на космодром. У них там ихние космические полеты.

— А это где? Как пройти? — спросил я, и нянечка показала.

Вот это была картина!

Посередине двора на деревянной площадке стояла большая серебристая космическая ракета с красной звездой, а вокруг площадки было несколько высоченных железных столбов, от которых к ракете тянулись какие-то канаты.

Ребят было полно, и несколько учителей и пионервожатых, и еще было много фотокорреспондентов, ну, тоже ребят, а один даже настоящий — седой дяденька с длиннющим каким-то фотоаппаратом. Чуть правее

того места, где встали мы с Валеркой и Ляликом, был стол с микрофоном, телефоном, разными кнопками и табличкой «Научный центр». Там, как раз у этого стола, и стояли учителя и старшеклассники.

— Снаружи здорово, — сказал я. — А внутри ракеты, наверное, скучища — сидишь и сидишь в темноте.

— Сам ты скучища, — сказал мне рыжий мальчишка; он совсем рядом со мной стоял; абсолютно весь в веснушках.

— А ты-то был там, что ли? — сказал я. — Внутри-то?

— Ну не был.

— Ну и сиди.

— А мне говорили.

— Ну и чего говорили?

— А вот чего: там телефон внутри, музыка и кино...

— Па-адумаешь, — сказал я.

— Да погоди ты, там не просто кино, а все время двигаются на экране звезды и планеты, будто ты летишь в космосе, и еще окошко, и в нем стекла устроены так же, как в бинокле, только с другой стороны, и все такое маленькое-маленькое становится, — ну, по мере, так сказать, удаления от Земли...

— Удаления... Эх ты, — я даже посмотрел на него свысока. — Какое здесь может быть удаление? Удаление!

— Раз, два, три, четыре, — сказал кто-то в микрофон. — Внимание! Внимание! Начинаем! Уберите кошку! Уберите от ракеты кошку! Внимание!

Точно, все поглядели, и у самой ракеты сидела кошка. Мылась. Все «закискали», но получалось «кисканье» со всех сторон, и она растерялась — куда ей бежать. Потом кто-то за ней полез, она убежала; и тут же заиграли трубы, и я увидел, как от дальнего конца площадки, сюда, к «Научному центру», идет девочка.

Она была в белом свитере, в красном галстуке и с огромным белым бантом на голове. Сама-то она шла ни быстро, ни медленно, но приближалась, почти как летела, все ближе и ближе...

И это была Гога.

Она остановилась прямо перед «Научным центром» и сказала:

— Я к полету готова. Дайте мне, пожалуйста, шлем.

Какой-то длинный старшеклассник зашипел на нее и после сказал в микрофон:

— Слово имеет директор школы...

— Дорогие ребята! — сказал директор. — Всего месяц назад на этом же космодроме мы встречали из космоса нашего дорогого Сашу Прошкина из шестого «г», а теперь мы провожаем в полет нашу дорогую Гогу... Галя Жукову...

— Прелесть, а не девочка! — сказал Валерка.

— Это она, — сказал я, задохнувшись. До этого я стоял прямо, как столб, и молчал.

— У нас уже стало славной традицией, — говорил директор, — каждый месяц посылать в космос лучшего ученика нашей школы. За прошедший месяц наша Галя не получила ни одной четверки, только одни пятерки; она стала победительницей по бегу, больше всех собрала бумаги и металлолома, безукоризненно помогала старшим в их важных делах и вообще... Счастливого пути, Галя! Счастливого возвращения!

Он захлопал в ладоши, и все захлопали, а длинный старшеклассник сказал в микрофон:

— Слово перед полетом имеет Галя Жукова. Пятый «в».

— Я посвящаю свой полет всем ребятам и девочкам нашего класса, — сказала Гога. Она держала голову кверху, к небу, и улыбалась. — И еще я посвящаю свой полет учителю арифметики Георгию Анисимовичу; он живет в нашей квартире, он учит ребят в другой школе и он очень хороший...

Валерка, Лялик и я переглянулись, а возле «Научного центра» стали шушукаться, и длинный старшеклассник велел Гоге нагнуться к нему и опять что-то прошипел ей на ухо.

Я понял, что произошло что-то очень неловкое, не то, и испугался за Гогу, но она вовсе не смутилась, а улыбалась по-прежнему и кивала всем головой.

— Конечно-конечно, — сказала она. — Я его посвящаю всем учителям нашей школы, и директору, и завучу, и всем нянечкам, и медсестре...

Все засмеялись, и тут же опять заиграли трубы, и кто-то из «Научного центра» протянул Гоге шлем, очень

похожий на настоящий, потому что, я думаю, этот, конечно, был ненастоящий.

И она опять пошла ни быстро, ни медленно, но сама-то как бы улетела от нас. Я увидел, как исчез за дверцей ракеты ее свитер; тут же до меня донеслось: «Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Старт!». Из-под ракеты метнулось пламя и клубы пара, и ракета, качнувшись вдруг — трудно себе представить! — оторвалась от площадки и стала подниматься вверх.

Я сначала ужасно напугался, правда. Потому что неожиданно. Я совсем забыл про эти канаты, которые тянулись к ракете от столбов. Значит, он не врал, этот, ну... «по мере удаления от Земли». Я представил себя в этой ракете: я гляжу в окошечко, где стекла как в перевернутом бинокле и все такое маленькое-малюсенькое, а ракета еще на самом деле удаляется от Земли, и планеты, и звезды движутся в темноте на экране, — и понял, что там, внутри, правда здорово.

Ракета остановилась в воздухе, я посмотрел на рыжего, и — прямо смех! — лицо у него было кривое-кривое, сам не знаю почему.

— Отли-и-нчица! — сказал он, и тогда я понял, что он завидует.

Я ужасно завелся.

— Ы-ы-ы! — говорю. — Завида! Двоечник.

— Я двоечник? — говорит. — Я? Да ты что?

Я даже растерялся.

— А что? — говорю.

— Да я... да у меня... да у меня всего одна четверка!

— Одна четверка?! — сказал я. — Вот это да! Ну ты и человек! — Мне совсем противно стало. Двоечника я бы еще понял. Ну, что он завидует. А этот... ехидна. — И по какому же у тебя четверка? — говорю.

Он говорит:

— По пению.

— По пению???

— А чего?

— Петь не умеешь? Петь???

— А чего?

— Тебе что, слон на ухо наступил?

— Повтори, что мне слон на ухо наступил!

— И повторю: тебе слон на ухо наступил!

— Да ты повтори, повтори!
— И повторю.
— Повтори.
— Да я уже повторил.
— А я сейчас своих позову, — говорит.
— Зови-зови, — говорю. — У меня здесь тоже своих хватает. Трое есть.

— А у меня целый класс.
— Трус, — сказал я. — Целый класс! Говорить с тобой неохота после этого, — сказал я и отвернулся. Тут же я, кажется, и забыл про него, потому что понял, что совсем не слушаю, что происходит с Гогой в космосе.

Она сказала (я услышал ее голос в телефонной трубке на столе «Научного центра»):

— Полет проходит отлично.

И еще:

— А чего там у вас, на Земле?

Ей ответили, и она громко сказала:

— Алло! Алло! Вы слышите? Здесь у вас в ракете муха летает!

Те, кто слышали, засмеялись, а директор сказал:

— Кто хочет поговорить с космонавткой?

Бывает же такое?!

Не знаю, как это вышло, только через секунду я был уже у стола «Научного центра» и держал в руке трубку.

— Алло! — сказал я. — Алло! Говорит Земля! Гога?!

— Да, — сказала она. — Я тут.

— Привет тебе с Земли, — сказал я. — Ты меня слышишь?

— Ага, — сказала она. — А это кто?

— Это я, — сказал я. — Я. Ну... помнишь, несколько дней назад я...

— Говори по существу, — услышал я над ухом голос длинного старшеклассника.

— Гога, — сказал я тихо-тихо, совсем тихо, прямо в самую трубку, шепотом, и рукой трубку закрыл. — Помнишь, я хотел тебя поцеловать, у вас на кухне?

— Что? — сказала она. — Не слышу?

— Поцеловать, — повторил я. Просто ужас, что на меня иногда находит.

— Возьмите от него трубку! — сказал кто-то. — Он не так!

— Я был у вас дома! — закричал я. — Я тетрадки приносил Георгию Анисимовичу, помнишь?

— Ну, помню, — сказала она. — Ну и что?

— Это я, — сказал я. — Привет.

— Ну, привет. Ну и что?

— Да так, ничего, — сказал я тихо. — Привет. — И отдал кому-то трубку.

Я не помню, как я выбрался от ихнего научного стола и как потом приземлялась Гога; помню только, что что-то там пищал октябрятский отряд, даря ей цветы, а сама она весело кричала: «И ни капельки не было страшно!» — и Валерка теребил меня и говорил: «Спроси про значки! Спроси про значки!» — а больше ничего не помню. Просто я пошел домой. Все-таки я ужасно глупый человек. Бываю иногда. Я жутко злился на себя. Дома, на кухне, я со злости разбежался и сделал стойку на руках. Впервые в жизни. Раньше чего-то никогда не получалось. И только тогда мне стало легче.

Я бы сегодня, когда ходил к Георгию Анисимовичу с тетрадкой, показал ей эту стойку — пусть знает. Но я ее так и не увидел.

И вот теперь я иду рядом с Лидией и почему-то боюсь заговорить про Гогу. Нет, не почему-то. Просто вдруг Гога тогда слышала, что я сказал ей в ракету шепотом? Вдруг рассказала Лидии? Лучше уж молчать. Лучше подумать о другом — о том, например, что же такое Лидия скажет моему брату Ишке.

ЧИСТОЕ БЕЛЫЕ И ГЯЗНЫЕ РУКИ

— Подожди, Лидия, — говорю я, когда мы входили на кухню. — Может, он с грушей работает. Ему нужно будет одеться.

Я оставляю ее одну и иду по коридору. Еще в коридоре мне кажется, что Ишка говорит сам с собой, но перед дверью я услышал, как незнакомый голос произнес:

— Да, без башлей плохо. Башли — это...

Я вернулся на кухню.

— Лидия, там еще кто-то есть.

— Девушка?

— Нет.





— Пойдем, — говорит она.

Мы входим в комнату и останавливаемся. Ишка и какой-то незнакомый парень сидят и курят. Ишка в трусах и майке. Я думал, Лидия сразу уйдет.

— Здравствуйте, — сказала она.

— Ишка, это Лидия, — говорю я, — она...

— Какая милая девушка, — немного незнакомым мне голосом говорит Ишка. Странно все-таки. — Проходите, я сейчас.

Он уходит в другую комнату и возвращается в халате.

— Пряжников, — говорит он и протягивает Лидии руку.

— Лидия.

— А это мой приятель — Бен.

Я смотрю на Бена. Он тоже, встав, протягивает Лидии руку и слегка кланяется. На нем синий мохнатый пиджак и чистая белая рубашка.

«А ногти грязные», — думаю я.

— Мне сказали, что вы чемпион, — говорит Лидия. — Забавно. Вы тренировались? Я не помешала?

— Тренируются в зале, — улыбаясь, говорит Ишка. Как мне он нравится! — Дома так... легкая разминка...

— Значит, вы... как это... легко разминались?

— Сегодня нет.

— Почему? Чемпионы должны тренироваться каждый день. Вас побьют.

— Еще никто, — говорит Ишка и кивает мне, чтобы я ушел в другую комнату. Головой так делает. Очень неприятно. Я ухожу. Я беру книжку, но не читаю.

— У меня не было ни одного знакомого боксера, — говорит Лидия.

— Теперь он у вас есть.

— А с чемпионами я никогда не разговаривала.

— Давайте поговорим, Лидия.

«Вот, — думаю я, — иначе ее и не назовешь. Все это понимают. Даже Ишке иначе нельзя».

— Давайте поговорим. Вы курите?

— Нет, — говорит она, — но я могу попробовать. Можно?

Я вижу в щелку двери, как Бен протягивает ей сигареты и зажигалку. Лидия закуривает.

— Вам нравится джаз? — спрашивает Ишка.

— Да, — говорит Лидия, — я люблю.

— Вот мой приятель Бен — специалист по джазу.

— Как это мило, — говорит Лидия. — Специалист. Нет, не хочу, — добавляет она и отдает Ишке сигаре-

ту. — У меня получается, по-моему, только это невкусно. Значит, вы чемпион по джазу?

— Вы знаете «Поезжайте на трамвае «А»? — ни с того ни с сего вдруг громко спрашиваю я из своей комнаты.

Бен не отвечает, и я краснею.

— А как ваше полное имя, Бен? — говорит Лидия.

— Бен.

— Такое имя?!

— Да. До свиданья, — говорит он.

Я вижу, как Ишка протягивает ему какой-то сверток, встает, извиняется и идет его провожать.

Лидия заходит ко мне.

— Это твоя комната?

— Нет, Ишкина...

— Ты не забыл? — спрашивает она.

— Про что?

— Про сарай. Я приду послушать, как ты играешь на трубе.

— Да, — говорю я, — я помню. Я буду ждать. Только я еще плохо играю... Просто ноты беру. Приходи. Войдешь во двор, иди дальше, в самом конце, в третьем дворе, там всего один сарай.

— Тс-с, — шепчет Лидия.

Ишка возвращается.

Лидия уходит к нему.

— Где же он вас отыскал, мой брат? — слышу я.

— Я дочка его учителя по арифметике.

— А-а! Ну, как он учится?

Я снова краснею. Терпеть не могу, когда обо мне говорят, а я тут же, рядом.

Что ему ответила Лидия? Я прослушал.

— А вы сами где учитесь?

— Я — в медицинском. А вы?

— Кораблестроитель. Вы, собственно, почему к нам пришли? Хотя я очень доволен.

— Я уже говорила. Разве нет? Живой боксер. Забавно. Чемпион! Бокс — это драка.

— Это искусство, — говорит Ишка. Красиво говорит. — Я вас как-нибудь сведу на матч.

— Не пойду, нет.

— А если драться буду я?

— Драться??

— Да. Это так говорят.

— Проводите меня, мне пора.

Ишка входит в комнату и, будто и не замечая меня, быстро одевается.

И они уходят.

Вот я и остался один. Ушла Лидия. Только что была здесь, и уже нет. Непонятно даже. Есть, есть и вдруг — хоп! — и нет.

— Алеша! — Слышу я голос мамы. — Ты поставил суп, мальчик?

— Нет.

— Ну ладно, я сама. Как дела в школе?

— Хорошо... Мама, я сейчас вернусь. Я быстро.

— Обедать будешь?

— Да.

— А Ишки нет. Сказал, что уходит на весь вечер. Я его встретила. С какой-то девушкой.

— Я скоро! — кричу я уже из кухни.

Я бегу по улице к дому Лидии. Может, успею еще? Совсем чего-то я плохо бегу. Разве так бегают? «Вот балда, — ругаю я себя, — бегать не умеешь». Ближе, ближе, ближе дом Лидии. Двор. Парадная. На лестнице — пусто. «Дома уже», — думаю я и поднимаюсь наверх. Буду ждать. Выйдет же она когда-нибудь. Не будет дома сидеть всю жизнь.

Мне кажется, что я сижу на окне целый час. Или больше. Я даже начинаю засыпать... Дремать особым образом. Мне снится Валерка Бурцев с серебряной трубой в руке. На всю школу он играет «Поезжайте на трамвае «А». С эстрады. А я стою внизу, и в руках у меня поднос, и на нем два кило мороженого. Рядом с Валеркой стоит Гога. На меня она даже не смотрит. В руке у нее сверток, тот самый, что Ишка отдал Бену... И вдруг я вижу Лидию.

— Ты откуда?! — спрашиваю я и просыпаюсь. Нет, не так. Сначала просыпаюсь, а потом спрашиваю.

Лидия подымается вверх по лестнице.

— Разве ты не дома? Я все ждал, когда ты выйдешь.

— Нет, мы гуляли, — говорит она.

— Послушай, Лидия, — говорю я, — я хотел у тебя узнать... в вашей квартире живет девочка, Гога...

— Она в больнице, — говорит Лидия.

— Она не умрет?!

Я спрашиваю и боюсь, боюсь, что скажет Лидия.

Но она смеется.

— Нет, что ты! У нее было воспаление легких. Сейчас ей лучше. Хочешь, мы пойдем к ней вместе?

— Да, — говорю я. — Лидия, а что такое башли?

— Башли — это деньги.

— Деньги и есть деньги. Зачем еще другое название?

— Не знаю. Я сама спросила у твоего брата, что такое башли, когда он так сказал.

— Разве ты не знала?

— Знала. Некоторые люди так говорят.

— Зачем же спрашивала, если знала?

— Ннзачем. Беги домой. До свидания.

Она хлопает своей ладошкой по моей и достает ключ.

Я бегу вниз.

Мама дома одна. Обед, наверное, остыл давно. Опять я сделал что-то не так.

А как это вообще делать — т а к?

Я ХОТЕЛ БЫ ПОЕХАТЬ В ТАЙГУ

Трамваи мне нравятся больше всего. Больше, чем автобусы или троллейбусы. Кажется, будто едешь в поезде далеко-далеко. А когда трамвай выезжает туда, где понастроены новые дома, улицы широкие и остановки делаются большими, он на самом деле разгоняется, будто поезд. «Тут-тики-тук, тут-тики-тук» — стучат колеса.

Дядя Лева живет в Новой Деревне, почти у самой железной дороги. Из его комнаты всегда слышно, как мчатся поезда: «Тут-тики-тук». Я еду в трамвае, на передней площадке второго вагона, в гости к дяде Лева. Я давно его не видел и даже соскучился. Да и он, наверное, будет рад; он всегда бывает мне рад, хотя теперь иногда злится, потому что не любит то, из-за чего я приезжаю. Я и в гости к нему еду, и по делу. У меня

на трубе одна нота не получается, а так нельзя, если хочешь как следует сыграть «Поезжайте на трамвае «А».

Сегодня воскресенье. С утра я сделал уроки, поиграл маленько на трубе и вот теперь еду к дяде Леве. Трубу я дома оставил. Во-первых, потому, чтобы никто ее не увидал, во-вторых, у дяди Левы сколько угодно разных музыкальных инструментов. Ему всегда — он сам мне так говорил — доставляет бездну удовольствия показывать мне эти инструменты. Показывать и рассказывать. О них он знает все. Так что заодно я сегодня опять доставлю ему бездну удовольствия. А еще и потому, что прочту ему новое письмо от папы. Оно тоже, я думаю, доставит ему бездну удовольствия. Оттого хотя бы, что там есть кое-что для самого дяди Левы.

Вот оно, это письмо.

«Здравствуй, Леха! Я особенно обрадовался и твоему и маминему письму, потому что, к сожалению, получил их на неделю позже — целую неделю меня не было в нашем городке: я летал на самолете обсудить кой-какие планы с химиками и нефтяниками, потому что наш городок будет городком химиков и нефтяников.

Сначала объясню тебе, что такое «профилактика», а потом и все остальное.

Профилактика... это... ну, как бы тебе сказать... ну, «на всякий случай». Допустим, ты гонял целый вечер на коньках, и тебе кажется, что у тебя будет грипп. Ты ложишься спать и на всякий случай, чтобы не заболеть, съедаешь — для профилактики — какую-нибудь дрянную таблетку. (Не советую. Лучше проветри хорошенько комнату и потеплее оденься на ночь, хотя я и не настаиваю.) Или еще: допустим, тебя сегодня вызвали по-русскому, ты получил четыре (лучше пять, советую), и урок на завтра ты усвоил хорошо. Но ты — для профилактики — все-таки готовишь этот урок: а вдруг вызовут? (Если ты так и поступаешь, для профилактики — не советую и почти настаиваю делать так же, но для знаний. Если же ты вообще этого не делаешь — мол, не вызовут, — не советую и просто настаиваю на обратном.)

Теперь дальше. Скоро ты вырастешь и, допустим, станешь строителем (очень и очень советую, хотя со-

всем-совсем не настаиваю). Возможно, когда ты будешь сам строить, ты попадешь в трудные условия, и окажется так, что они будут сильнее тебя, и ты сломаешься, струсил, допустим, и уедешь. Чтобы этого не случилось, нужно с детства закалять себя: руки, ноги, голову и — особенно! — сердце. Понял теперь, что такое профилактика?

Морозы у нас стоят крепкие, у вас таких не бывает, но по утрам снег здесь такой же синий, как и в Ленинграде. Вечером я всех здесь обставляю в шахматы и слушаю музыку. Вчера какой-то спортивный радиокomentатор упомянул в отчете Ишку.

Еще здесь у нас симпатично получилось — ребята собрали оркестр: гитара, кларнет, барабан и аккордеон. Но вот беда: у кларнетиста Бобы Самоварова испортился кларнет, и никак не починить. Вели дяде Леве отписать совет. Скажи ему, что не работают три верхних клапана, сипят. Пусть напишет, что делать.

Насчет твоего медведя я подумаю — стоит ли? К тому же — решай не решай — его еще поймать надо. Ты на всякий случай не расстраивайся, если я приеду без медведя.

Пока привет.

Пиши.

Не давай маме самой бегать по магазинам.

Твой папа.

Спасибо за рисунок. Он отличный.

А Ишка не пишет».

Я еду в трамвае, на передней площадке второго вагона, в гости к дяде Лёве, а на задней площадке стоят двое ребят и разговаривают. Конечно, что они говорят — не слышно, но я все равно знаю, о чем они говорят, каждое слово почти.

Когда мне было восемь лет, у меня уши заболели. Я долго болел, целый год. Я почти ничего не слышал, только чуть-чуть. Еле разбирал, что другие говорят.

А однажды я заметил, что все понимаю, даже когда ничего не слышу, просто по движению губ. Только никто этого про меня не знает. Все думают, что я какой-то необыкновенный феномен. Закроют мне уши, а сами

говорят, а я им потом рассказываю, о чем они говорили. Я так несколько раз американку выигрывал. Я телевизор могу слушать, не включая звук. Только не все — иногда без музыки и без разных шумов это неинтересно.

Ребята с задней площадки не догадываются, наверное, что я все понимаю.

— Нет, Вень, правда, что захочешь, то и сбудется, ну, чуть ли не в эту же секунду, — говорит первый. Начала разговора я не знаю. — Ты бы чего хотел?

— Я бы фотоаппарат «Зенит» и все объективы...

— Мелочь, — говорит первый. — Вот всегда ты так. А я бы хотел поехать в...

Мне не разобрать, какое он там слово сказал, — он голову повернул, — но мне кажется, будто он сказал «в тайгу». Да, да, именно.

— Ты бы там замерз, — говорит второй, — или заблудился.

— Может быть, и не замерз бы, и не заблудился, дело не в этом, — говорит первый. — Просто мне чего-то такое, уж такое чего-то сделать хочется... А ты — «фотоаппарат».

— Ну, я не знал, что из такого...

— Я же сказал, Вень: что захочешь, то и сбудется.

— Тогда на Марс, — говорит второй.

— Больно ты им там нужен.

— А ты — в тайге.

— Тебе это не понять, — говорит первый, — макаронная башка!

Второй отворачивается, и теперь мне не видно, что он говорит. Только по первому слегка можно догадаться.

— Он тебя отлупит, он сильнее.

Второй что-то отвечает.

— Если очень хочешь, тогда отлупишь, — говорит первый. — Только он своей мамочке пожалуется, она тебе пару и влепит по русскому.

После ответа второго:

— Абашидзе она тоже ни за что влепила.

Потом:

— А Фуксу и Дылдину? Разве за что-нибудь?

И еще:

— Я ее не люблю. Ведьма она. Злая.

Я бы и дальше их послушал, но пора выходить,

ДЯДЯ ЛЕВА

Я иду по какому-то переулку к дяди-Левиному дому. Дядя Лева живет в первом этаже. Только окно у него не на улицу, а с другой стороны. Темнеть начинает. Небо уже серое и только с самого края еще розовое. Проносится поезд. Наверное, дальний, не остановился.

Я огибаю дом, вхожу в парадную и три раза нажимаю звонок. Сколько уже лет я езжу к дяде и до сих пор не знаю, как называется его переулок и какой у него номер дома. Глупо, правда?

А вот и дядя.

На нем белая рубашка, брюки от пижамы и домашние туфли. Дядя что-то поет. Наверное, Баха. Бах — любимый дядин композитор. Жил на свете Бах, композитор. Давно это было, в Германии. Он пил пиво и сочинял музыку (так говорит дядя). Потом оказалось, что он, Бах, необыкновенный человек.

А теперь дядя Лева из Новой Деревни поет его произведения. И тоже пьет пиво. Дядя Лева обожает пиво. Только пиво. Ничего другого он не пьет. Просто не признает. Я в этом не разбираюсь, но говорю так только потому, что однажды на папином дне рождения дядю Леву все-таки уговорили выпить немного коньяку. Ах, что было с дядей Левой! Он начал хохотать, чихать, плакать, крутить в воздухе руками и говорить всякую чепуху. Все ужасно растерялись, потому что не думали ведь, что так будет. Дядю Леву уложили на диван — спать, но он не спал, он лежал просто так на диване и смотрел на всех грустными глазами, а все старались не глядеть на него и, по-моему, ужас как смущались. Потом дядя Лева поманил меня пальцем, и я сел к нему на диван.

— Все, — сказал он. — Все прошло, слава богу! Но голова не чистая. Не чистая и не ясная. Но я соображаю. Зря поддался, больше я к этой гадости не притронусь. Даю пионерское.

— Да-да, — сказал я. — Ни к чему это. Сплошная беда.

— Именно, — сказал дядя. — Сплошная беда.

Тут же он посмотрел на коньяк и рукой так сделал,



махнул, будто оттолкнул его от себя, потом засмеялся, погладил меня по голове и вдруг придумал шараду, такую загадку, в которую играет теперь со мной каждый раз, когда я приезжаю к нему. Тогда же я на той бутылке коньяка увидел какие-то звездочки. Непонятно, при чем тут звездочки. Наверное, какая-нибудь ошибка.



Мы расхаживаем с дядейлевой по комнате, и я читаю ему папино письмо.

— Я ему напишу, — говорит дядя Лева. — Напишу, напишу. Ничего страшного с кларнетом не случилось. Я понимаю. Боба Самоваров снова будет играть, как и раньше.

Дядя Лева слушает меня и кивает. То и дело он прикасается к какому-нибудь инструменту на стене и гладит его.

А комната у дяди Левы удивительная. Лучше я никогда и не видел. На всех четырех стенах места свободного нет — висят инструменты. Гитары, скрипки, тромбон, кларнет, труб — пять штук...

Вон та, круглая, завитушкой, называется валторна, а эта, огромная, — туба.

Комната у дяди Левы небольшая, а от инструментов она кажется еще меньше. На столе возле окна горит маленькая лампочка. Инструменты отбрасывают на стены какие-то странные тени. Которые металлические, блестят. Тихо, таинственно.

— Бах был великий композитор, — говорит дядя. — Такой великий, что даже его дети все были хорошими композиторами. Обычно бывает не так. Все его дети писали музыку. Только некоторые люди этого не знают, например ты сам. Некоторые люди считают, что раз написано «Бах», — значит, это и есть Бах. Какой именно — им неважно. Что им Бах? Так, пустой звук... Твой отец — мой брат — в этом разбирается, а вот мама твоя... я ничего не говорю, она прекрасная женщина...

— Дядь Лева, — перебиваю я его. Зачем он про маму? — У меня «до» не выходит. Покажите.

— Покажу, покажу. Отгадай только сначала загадку. Шараду. Первое — лошадь. Второе — не совсем лошадь. Все вместе совсем не лошадь. Что будет?

Мне чего-то неохота отгадывать. Мне охота «до» поскорее выучить. Прекрасная все-таки штука «Поезжайте на трамвае «А».

Но обижать дядю Леву мне тоже не хочется, неловко как-то.

— Дерево, — говорю я.

— Подумай, подумай, не спеши.

— Ракета, — говорю я.

— Дурачок, — маленько сердится дядя Лева. — Куриная голова. «Раке-ета». Также мне. Коньяк — вот что. Понимаешь: конь-як! Помнишь папин день рожденья? А? Ладно, ладно, пускай! Пусть пьют. Сами пить будут, сами и рассчитываться за это. Сами. Именно. Захотят

кому-нибудь пионерское дать, что больше не будут, а уже не смогут — поздно. Вот так-то!

Дядя Лева снимает со стены трубу, гладит ее, нюхает, плюет в нее, целует, трет о брюки.

— Драть тебя надо. Как эта твоя гадость называется?

— «Поезжайте на трамвае «А».

— Господи, до чего дошли! Раньше было сн-бемоль-мажор. Теперь — «Поезжайте на каком-то там трамвае». Еще ничего. Хуже есть. Твой братец насвистывал, «Сборище во фраках» называется. Или еще — «Большой шум в Вннетке». С такой гордостью сказал. Вннетка! Смех.

Дядя Лева ненавидит джаз.

— Какая нота не получается, убить тебя мало?

— До, — говорю я.

— Смотри. — Дядя показывает мне, как ставить пальцы. — Дуй свободно. Губы сложи вот так. Воздух выдувай, будто плюешь. Смотри.

Он дует в трубу, и вся комната наполняется красивым звуком. Когда он перестает дуть, в гитарах и скрипках еще долго звучит прекрасное дядино «до». Щека у него дергается.

— Попробуй. Устал я вдруг. О черт... Эх!

Я подношу трубу к губам.

Глаза у дяди блестят.

— Не бойся. Смелей!

Я дую. Звук получается громкий, резкий, но все-таки получается.

Через полчаса мне начинает казаться, будто я только и делал всю жизнь, что играл эту ноту. Губы болят, и внутри все устало. Звук, конечно, гораздо хуже, чем у дяди Левы, но все-таки неплохой.

— Молодец, молодец, талантлив, — говорит он. — Преступник. Зачем я твой талант вызываю? Для чего?! На службу чему?! Сечь тебя надо, железными прутьями! Джаз! Убить мало!

В дверь стучат. Дядя Лева уходит и возвращается вскоре с четырьмя бутылками пива в руках.

— Это прекрасно! — говорит он. — Сосед из бани принес чешского пива. Это изумительно. Хочешь пива?

Я отказываюсь.

Дядя Лева пьет и рассказывает мне про то, как пил пиво Бах.

Однажды к Баху в пивном погребке подошел какой-то человек и спросил:

— Вы Бах?

— Да, я.

— Очень приятно с вами познакомиться. Моя фамилия Бетховен.

Вот это была встреча!

Они все пили пиво. И Бах, и Бетховен, и Гайдн. Моцарт — нет. Моцарт любил сдобные булочки.

Только не надо думать, что раз так, то они не были великими людьми. Совсем наоборот. В том-то и дело, что они были — как мы. Пили пиво, ели булочки, гуляли, ссорились, занимали деньги в долг... Но при этом они были гениальными. А то, что они были просто людьми, как и мы, только подчеркивает их величие.

После дядя Лева рассказывает мне про валторну. Про то, почему она устроена таким кренделем.

— Мне пора, дядь Лева, — наконец говорю я.

Дядя провожает меня.

Внизу, в парадной, я сталкиваюсь с Ишкой.

— Ты чего тут? — спрашивает он.

— В гостях был. А ты...

— Ну, ну, давай...

Лицо у него бледное, шарф торчит из пальто... И... неужели?! Какая-то бутылка. С чем? Неужели?!

— Ишка, а ты надолго?

— Надолго. Поезжай домой.

И вдруг — я не знаю, зачем я это говорю.

— Ишка, — говорю я. — Я хотел бы тебя подождать. Даже если долго. Даже если...

— Я же сказал — иди, — слышу я откуда-то его голос, откуда-то издалека.

Он нажимает дядин звонок три раза, и я выбегаю быстро из парадной и сажусь на крыльцо.

Совсем темно стало... Электрички стучат по рельсам. Может, взять и уехать куда-нибудь? Уехать — и нет меня. И никто не знает, где я. Буду один жить. Не к папе же ехать. Как я все расскажу ему? Конечно, может быть, я встречу его случайно в тайге — и только тогда он обо всем узнает и поймет меня...

Такой у дяди Левы первый этаж, что просто так и

не заглянешь в окно. Лезть надо. Я берусь обеими руками за водосточную трубу, подтягиваюсь и ставлю ногу на перекладину между трубой и стенкой. Труба не у самого окна. Не поймешь даже, как здесь висеть, чтобы хоть немного заглянуть в окно.

Заглядываю.

Ишка уже снял пальто, но шарф почему-то оставил. Он стоит возле стола, в руке у него стакан, а в стакане... Нет, это не пиво! Нет! Что-то совсем другое!

Дядя Лева морщится, берет Ишку за руку, но тут же отпускает, а Ишка запрокидывает голову, выпивает полный стакан и вытирает ладонью губы.

А дядя Лева морщится! Морщится! Только морщится — и ничего! «Дядя Лева! Как ты так можешь?! Зачем ты ему позволяешь?!»

Ишка садится. Они сидят лицом друг к другу. Губы их шевелятся. Для кого-нибудь это как телевизор без звука, но я-то все понимаю.

— Я теперь на них плевал, — говорит Ишка. — Я и раньше плевал, а теперь совсем. Много у них в институте до меня чемпионов города было? Ни одного. Теперь будут держаться за меня и трястись. Из института, конечно, не выгонят. Но ведь денег-то все равно нет.

— Ты что здесь делаешь? — слышу я голос позади себя. Сердце у меня колотится. Я молчу.

— А что? — наконец произношу я.

— Зачем на окно лезешь?

— Сейчас мне дядя Лева проволоку из форточки выкинет, мы антенну к приемнику делаем.

Человек уходит.

Лицо у Ишки становится каким-то толстым и чужим.

— Они мне уже полтора месяца стипендию не платят. Я матери не говорю, она все равно не знает, есть деньги или нет, она всегда стипендию мне оставляла. А у меня долгов пропасть. Ты не бойся, я отдам.

— Я не боюсь, ерунда, — говорит дядя.

— Я продам что-нибудь и отдам. На днях отдал Бону новые ботинки, хорошие, пусть продаст...

Дядя достает из бумажника деньги и кладет перед Ишкой.

Ишка комкает их в кулаке, сует в карман и снова

наливает себе полный стакан и выпивает. Губы его шевелятся.

— Мне еще часы выкупить надо. В кафе оставил, в залог. Не хватило рассчитаться. — Я еле разбираю, что он говорит. — Выгнать они меня не посмеют. Куда они без... меня? Все инженеры все равно не бывают классными. А мне тренироваться надо, мне надо...

И вдруг... вдруг я понимаю, что Ишка опьянел, пьян!

«Дядя Лева! Ах, дядя Лева! Зачем вы ему позволили? Зачем?»

Ненавижу я дядю Леву! Да, ненавижу. А это так неожиданно для меня. Это так непонятно. Ведь разве могу я его ненавидеть? Он же хороший человек. Он такой добрый всегда. И он, как и папа, людей защищал на войне, маму защищал, Ишку... Разве мне можно его ненавидеть?

Но у меня уже нет сил, и внутри как-то плохо, и вить на трубе я устал. Не смогу я сейчас войти к ним в комнату. Да и что я скажу им?

Я спрыгиваю на землю и иду к трамвайной остановке. Холодно стало чего-то. Понемногу я успокаиваюсь. Нет, не могу я ненавидеть дядю Леву. Да я уже и не чувствую этого. Но простить ему все я тоже не могу. А чего простить, я и сам толком не знаю. Наверное, я не прав, он такой человек. Просто что-то не то он сделал. Может, я не прав, что не прощаю его, но по-другому у меня не выходит, не выходит, и все тут. Никогда я уже не буду так хотеть приехать к нему в гости.

Или, может, я прав. Не знаю.

А ЭТО Я ДАЖЕ РАССЛЫШАЛ

— Ты что, тоже сегодня на хоккей? — спрашивает мама.

— Ага, — говорю я. — ЦСКА — СКА. А почему тоже?

— Это чей билет?

— Мой.

— А эти?

— Не знаю.

— Эти Ишкины.

— Сколько? — спрашиваю я.

— Два.

— Ага, здорово, — говорю я.

— Он с Семой, наверное, — говорит мама, — Сема вчера тоже собирался.

— Ага, — говорю я. — Точно.

«Он с Лидией, — думаю я. — А Семка отдельно. И я отдельно. Все будем сидеть в разных рядах». А еще совсем недавно мы сидели бы все вместе: Ишка, Семка и я.

Я даже не смотрю на Ишкины билеты, в каком ряду его места; Лидию я повидал бы с удовольствием, но при Ишке я к ней все равно не подойду. Я вообще не хотел идти на хоккей, сидеть на трибунах. Я раньше очень любил сидеть на трибунах, у меня всегда получалось какое-то странное чувство, вроде какое-то волнение, что вокруг меня и особенно внизу происходит что-то необыкновенное. Как ни приду на стадион — обязательно со мной случается это волнение. Особенно меня к этому Ишка приучил, когда я на бокс ходил. А теперь из-за него же мне плохо сидеть на трибунах, — ну, не плохо, а не так как-то, совсем не так, как раньше.

Я бы и не пошел на хоккей, но меня Лялик Яновский с Валеркой уговорили. Вообще-то мы чуть ли ни всем классом пошли, потому что московский ЦСКА — чемпион, а наша СКА — так себе, и Лялик сказал, что чем больше народу будет за наших болеть, тем лучше. Чудак наш Лялик, будто это и так не понятно.

Когда хоккеисты выкатили на лед, я чуть ли не затрясся от этого своего волнения, ну, про которое я говорил. Даже позабыл на время, что вообще-то мне сидеть на трибунах не так хорошо, как раньше.

Не знаю точно почему, но хоккей с шайбой на меня необыкновенно действует. Здесь, наверное, дело в том, что у площадки есть борта, сама площадка маленькая, а скорость у хоккеистов огромная, и они все время двигаются со страшной этой своей скоростью — и то резко остановятся, то сменяют направление и оказываются уже совсем в другом месте: все время на площадке движение, такое стремительное... Нет, не могу я объяснить. А еще они одеты потрясающе — так, чтобы, если упа-

дешь или в борт врежешься, ничего не случилось. Я как-то раз смотрел по телевизору, как наша сборная с чехами играла, так там один ихний чешский нападающий, Клапач, кажется, так с ходу в борт врезался, что я думал, он умрет и не встанет. А он, между прочим, тут же встал живой-живехонький и поехал и даже ручкой помахал кому-то из своих, — мол, все в порядке.

— Во, начали! — сказал Лялик, и я даже вздрогнул, хотя сам прекрасно видел, как выехали на поле судьи в полосатых свитерах, а нападающие, широко раздвинув ноги, присев и согнувшись, стали друг против друга, нос к носу, и судья дунул в свисток и бросил им на лед шайбу и сам тут же быстро отскочил назад, чтобы его не задела.

Я на секундочку поглядел налево и направо, на ребят и девчонок из нашего класса, и увидел, что все мальчишки, как и я, перестали есть мороженое, а девочки, хотя и не перестали и лижут его языком, все равно смотрят на поле; и тут же я услышал свисток, и сам поглядел на поле и понял, что сейчас будет вбрасывание шайбы у ворот москвичей, потому что кто-то из них прижал ее к борту.

— Давайте все кричать: «Шай-бу! Шай-бу!» — сказал Лялик.

— Шай-бу! Шай-бу! — заорал наш класс, и всем нам вдруг стало так хорошо, необыкновенно как-то; я сам почувствовал, что всем, потому что целый стадион подхватил за нами: «Шай-бу! Шай-бу!» — и нас, наверное, услышали хоккеисты, а один из них даже на самом деле чуть не забросил москвичам шайбу, только попал во вратаря.

Это было очень здорово — почти целым классом орать «шай-бу!», но пришлось перестать: москвичи начали штурм наших ворот, и орать было просто глупо, к тому же сразу стало ясно, что москвичи — чемпионы, а наши все-таки так себе.

Один из москвичей на ужасающей скорости пронесся за нашими воротами, после легонечко так откатил шайбу кому-то из своих, тот, не задумываясь, сделал бросок, стадион ахнул, над нашими воротами зажглась лампа — гол! — а судья подхватил шайбу и повез ее в центр поля.

— Завал, — сказал Лялик.

А Надька Птичникова спросила:

— Кому завал? Это кому гол забили? Нашим или не нашим? — И все стали на нее цыкать, раз она такая балда и ничего не понимает.

— Уберите ее, — сказал Лялик. — Пересадите ее от меня подальше.

Наши опять захотели забить москвичам гол, но ничего не вышло, они даже по воротам не сумели бросить, и москвичи отобрали от наших шайбу.

Я вдруг почувствовал, что замерз, и очень удивился: хотя у нас хоккей и не на закрытом катке, а просто на стадионе, сегодня весь день было вовсе не холодно, и с крыш даже капало. Я увидел, что наши ребята тоже ежась и быстро едят свои мороженое-стаканчики, торопятся скорее доест, потому что есть их нормально на таком морозе совершенно невозможно.

Вдруг стадион ахнул. Я поглядел на нашего вратаря и увидел, что он стоит растопыркой, а лампа над воротами горит, и шайба запуталась в сетке наших ворот.

Я почему-то необыкновенно расстроился, и не захотелось мне никакого хоккея, а захотелось спуститься вниз, отыскать Лидию и о чем-нибудь поговорить с ней. О чем угодно. Только я решил, что не буду ее искать специально — и не из-за Ишки вовсе, а просто потому, что, когда кого-нибудь очень ищешь, ни за что не находишь.

Диктор сказал на весь стадион, что такого-то удалили за грубость на две минуты и что какая-то там шайба не засчитывается. На стадионе прямо крик стоял и свист, но я уже не смотрел на поле, а только ждал, когда же будет перерыв и я пойду-пойду куда-нибудь, просто так пойду, и Лидия сама найдет.

И она правда нашлась. Даже поверить трудно. Я увидел ее одну, без Ишки; его-то потом я тоже увидел, он стоял возле буфета с каким-то парнем, только не с Беном, и что-то покупал; а Лидия шла внизу по проходу, я бросился к ней, но раньше, чем я добежал до нее, я увидел, как к ней мчится какая-то большая рыжая девчонка, вся такая модная, и хватает ее и начинает целовать.

— Лидка! — закричала эта рыжая. — Ой, Лидка!

«Лидия, — подумал я, — ее надо звать Лидия». Но Лидия не то растерялась, не то обрадовалась очень... Она говорила:

— Ой, Женечка, ой, Женька, ой! Сколько лет, сколько зим?!

— Подумать только! — кричала рыжая. — После школы — первый раз... Ну как ты? Как ты?

— А ты как?

— Я хорошо. А ты?

— И я...

— А я...

Ужасно противно было смотреть, как они лижутся. Особенно эта рыжая.

Потом они заговорили по-человечески, и мне стало их не слышно. Я внимательно глядел, как шевелятся их губы.

— А я манекенщицей, — сказала рыжая. — Мило, правда?

— Очень, — сказала Лидия.

— А ты в медицинском, да? Кажется, да. Мне Галка говорила.

— Да, — сказала Лидия.

— И кем ты будешь?

— Кем? Участковым врачом.

— Ой, Лидка, скучища же. Бегать по квартирам, да?

— Ага.

— Лидка, это же скучно. Ты не сердись.

Что ответила Лидия, я не разобрал. Я увидел, как она улыбнулась, а рыжая чмокнула ее в щеку.

— Мне нравится, — сказала Лидия. — Людей много. Работа, правда, незаметная, но я люблю такую. — Это я уже расслышал.

Потом к рыжей подошел какой-то парень, она куда-то заторопилась, затараторила...

— Ой, Лидка! В следующем перерыве, ладно? У бифета. Столько лет, столько зим!

Я уже был внизу.

— Лидия, — сказал я. — Это я.

Она обернулась.

— Ты откуда?

— Смотрю хоккей.

— Ах, вы подумайте. Я и не догадалась.

— Лидия... Ну, пока, а то Ишка идет.

— Мы скоро пойдем к Гоге, — сказала она. — В больницу.

— Да, — сказал я. — Возможно.

— Почему «возможно»?

— Не знаю. Пойдем. Пока, Лидия.

— Я тебя предупрежу! — крикнула она.

Хоккеисты уже выкатывали на лед.

А мне совсем не по себе стало. Я видел Лидию, я видел Ишку, они на самом деле здесь, на стадионе, и Семка, наверное, тоже тут, и мы на самом деле сидим не вместе. Вон там где-нибудь сидят Лидия с Ишкой, а там, может быть, Семка, а я тут — все в разных местах. Совсем плохо мне стало.

Я смотрел на лед и видел только, как мчатся по льду хоккеисты, а кто нападает и как там обстоят дела, мне стало вдруг все равно.

Сквозь шум и крики я услышал, как диктор на стадионе сказал:

— Третий гол в ворота СКА с подачи Александра забил Альметов.

— Все, — услышал я голос Лялика Яновского. — Три — ноль. Завал. Никаких шансов.

Надька Птичникова ни с того ни с сего — вот дурехато! — закричала: «Шайбу! Шайбу!» — и все снова на нее зацыкали.

Я слышал все это, но не слушал совсем. Мне хотелось, чтобы сейчас было темно, только луна стоит над тайгой, и я иду по тайге на лыжах, и, кроме меня и моей собаки, никого кругом нет. Я иду час, другой, третий... десять часов подряд. Наконец, впереди мелькает огонек, я подъезжаю к дому, моя собака лает, и на крыльцо выходит человек с фонарем.

— Здорово, Леха! — говорит он. — Ты быстро дошел. Снимай лыжи, чай уже готов.

— Сейчас, пап, — говорю я и снимаю лыжи.

— Ты слышишь? Гол! — Валерка трясет меня за плечо. — Го-ол! Наши забили. Такая плюшечка была, будь здоров. Ты чего, Леха?

— Вот это плюха была! — кричит Лялик.

— Плюха, плюха, — хохочет Надька.

Я смотрю, как обнимаются наши хоккеисты.

— Сейчас вторую будут делать, — говорит Лялик. — Вот увидите. Можете мне поверить.

Но второй период уже кончился.

— Ты чего? — говорит мне Валерка. — Чего это с тобой?

— Ничего, — говорю я. — А чего? Погоди, я сейчас, мне здесь одного человека повидать надо.

Та рыжая модная девчонка и Лидия были уже внизу, возле буфета. И рыжая опять лезла к Лидии целоваться. А ее молодой человек и Ишка, каждый сам по себе, ходили здесь же, рядом, заложив руки за спину, и молчали. Но я не смотрел на них. Я искал Семку. Вдруг он придет сюда попить лимонаду. Глазами искал. А ходить и разыскивать — это глупо, все равно не найдешь.

К Ишке подошли двое каких-то взрослых ребят, и они заговорили о хоккее, я это по их губам видел.

— Альметов — чудо, — сказал один из них.

— Да-а, — сказал Ишка. — Будь здоров. Зря ты, Саня, хоккей бросил, я серьезно тебе говорю.

— Надоели мне советы, — сказал Саня. — Когда ты слесарем бросил работать, я тебе советов не давал.

— Еще бы, — сказал Ишка. — Я в институт поступил.

— Во-во, — сказал Саня. — Именно. Ну и что? А я и тогда считал и сейчас считаю, можно было и слесарем работать и в институте учиться, только я молчал и буду молчать, потому что не люблю советчиков.

Второй сказал:

— Жирновато и то и то делать. На себя времени не останется.

— Не в этом дело, — сказал Ишка. — Просто неинтересно. Слесарем — грязно, в институте почище, но скучно, а все вместе — просто неинтересно.

— А что интересно? — спросил второй.

— Детские разговоры, — сказал Ишка.

— Ну, а все-таки?

— Интересно, когда огромный, полутемный зал с трибунами, — сказал Ишка. — А ринг ярко освещен, и на нем ты один, ты и судья, который поднимает твою руку, и больше никого, даже твоего противника нет, потому что твой удар в голову был слишком хорош, чтобы он мог сейчас стоять. Стоишь ты один с поднятой рукой на ринге, и огромный зал смотрит на тебя одного. — Последние Ишкины слова я даже расслышал.

— Красиво, — сказал Саня.

— Пошли, — сказал второй. — Начинают.

«А где же Семка? — подумал я. — Так и не пришел попить лимонаду». Я спрятался за людей, Ишка и Лидия оказались вдруг совсем рядом со мной, Лидия улыбалась чему-то, она была очень красивая, очень; потом я потерял их из виду.

Я не пошел к своим ребятам. Я сел тут же, внизу, на свободное место и, чтобы не думать ни о чем, заставил себя смотреть хоккей. Но мне было неинтересно. И когда наши ребята и девочки — я слышал — кричали: «Шай-бу! Шай-бу!» — мне было неинтересно. И даже стыдно, что я не болею за своих. Очень стыдно, но я так и не понял толком, сколько еще шайб нам забросили москвичи — две или три.

Я ушел со стадиона один, не дожидаясь ребят, и сел в битком набитый трамвай. Меня прижали к стеклу на задней площадке первого вагона; стекло совсем запотело, кое-как мне удалось его протереть, и я увидел, как кто-то на первой площадке второго вагона тоже вытирает стекло, я взгляделся и...

— Семка! — крикнул я, потому что это был он. — Семка! — но он меня не услышал. Он стоял боком ко мне, с книжкой в руках, губы его шевелились... Я разобрал:

А на кочках под осинами,
Солнца празднуя восход,
С причитаньями старинными
Водят зайцы хоровод.
Лапки к лапкам прижимаючи,
Вроде маленьких ребят,
Про свои обиды заячьи
Монотонно говорят.

— Хорошо, — сказал Семка кому-то рядом с собой, я не видел — кому. Тот что-то ответил.

— Я люблю этого поэта, — сказал Семка.

Потом:

— А ты заметила, какую гениальную шайбу забросил Альметов? Четвертую.

И еще:

— Мне сегодня в ночную смену... Да.

Я стоял, прижавшись носом к стеклу, и ждал, ждал, когда же Семка посмотрит в мою сторону и увидит меня, но он так и не посмотрел.

В САДИКЕ У КАЗАНСКОГО

Наконец-то мы его заметили. Чистенький такой, пожилой иностранец в пальто кофейного цвета. Он вышел из гостиницы и по улице Бродского направился к Невскому. Мы с Валеркой стояли на другой стороне, но и отсюда Валерка сумел рассмотреть, что у того один значок приколот к пальто, а два — на большой сумке...

С этого момента Валерку стало не узнать. Он шел как гончий пес по следу. Мы свернули на Невский, к Казанскому. Иностранец несколько раз терялся в толпе, но Валерка был начеку.

— Видишь, как спокойно идет, — зашептал мне Валерка. — Я тебе говорил, что вечером лучше. Вечером они гуляют. Днем одна морока с ними: то «извини, мальчик, мы торопимся в музей», то в магазин, то еще куда.

Три дня Валерка уговаривал меня пойти на охоту за значками. Я все отказывался. Мне не до этого. После-завтра 8 марта, женский праздник, не хочется маму расстраивать, — я сидел и занимался. Ищу в эти дни я не видел; когда я ухожу в школу, он спит, когда он возвращается, я сплю; днем его дома нет.

Я все время думал о нем и занимался. Даже кое-что из старого выучил, что плохо знал.

Маме я вырезал из пенопласта брошку — белую розу. На трубе не играл, не хотелось.

Валерка все ходил вокруг меня и ныл. Значки — это его страсть. Больше его ничего не интересует. Их у него килограммов шестьдесят, честное слово. Мы всем классом тащили эту тяжесть, когда он в школе выставку устраивал. Когда Валерка идет на охоту, он берет с собой штук десять-пятнадцать значков, для обмена, но я никогда не видел, чтобы он что-нибудь обменивал. Значки ему просто дарят. То есть это даже трудно себе представить, как его любят иностранцы. Они дарят ему значки, карандаши, какие-то открытки с видами, спичечные коробки. Валерка все, кроме значков, сваливает у себя в углу. Иностранцы в Валерке души не чают. Конечно, когда они не торопятся.

Валерка прекрасно говорит по-английски. Его мама научила. Учила с самого детства. Она учительница по английскому. В одном институте. Я думаю, здесь дело

не в каком-то Валеркином таланте или усидчивости, просто потому что с детства. Вот, например, по французскому у него тройки. Мы проходим в классе французский. Все удивляются, почему Валерка не перейдет в другой класс, где английский, но он говорит, что мама ему и французский велит выучить.

— В садик идет, к Казанскому, — шепчет Валерка.

Мы быстро перебегаем Невский возле Дома книги и идем за иностранцем. Садик полукругом, мы идем по полукругу и где-то в середине, ближе к собору, Валерка сжимает мне руку и громко произносит:

— Экскьюз ми, сэр!

Иностранец оборачивается.

Что такое «сэр» — всем понятно. «Экскьюз ми» я тоже знаю. Валерка всегда так приговаривает, когда дает мне сайку. По-английски это «извините».

Валерка что-то спокойно и ласково говорит иностранцу. Я смотрю в лицо этого слегка пожилого человека. Лицо сначала растерянное, потом задумчивое, потом добрее, потом он начинает улыбаться, потом смеется, потом хохочет, наконец хлопает Валерку по плечу, а Валерка его, и оба они садятся на лавочку.

Я стою.

— Он американец, — говорит Валерка, — из Лос-Анжелоса.

Американец хохочет.

— Лос-Энджелес, Лос-Энджелес, нес, — говорит он мне.

Я киваю.

Американец хлопает Валерку по плечу, откалывает от пальто и от своей сумки значки и отдает Валерке. Валерка сияет. Один значок он, извиняясь («экскуз ми» и еще что-то), отдает американцу обратно. Наверное, у него уже есть такой. Американец настаивает, Валерка берет — ладно, пусть лежит для обмена.

— Он спрашивает, почему ты все время молчишь?

— Скажи ему, — говорю я, — что у меня зубы болят.

Валерка переводит.

Американец делает грустное лицо и показывает, как это больно. Но тут же снова хохочет. Он дарит Валерке авторучку — Валерка морщится. Мне американец дарит зажигалку. Как-то неловко, неудобно, но я беру: нехорошо обижать человека.

А Валерке все ловко и все удобно. Он отдает американцу свои значки, но тот не берет: он ведь не менялся, а подарил.

Тогда Валерка дарит ему от меня шариковый карандаш, а от себя — какую-то складную книжечку.

— Это виды Нью-Йорка с моим автографом, — говорит мне Валерка.

Валерка с американцем часто хлопают друг друга по плечу и часто, обращаясь друг к другу, произносят слово «гай».

— Что такое «гай»? — спрашиваю я у Валерки.

— «Гай» — это парень, — говорит Валерка.

Ну и дела!

— Он спрашивает, что думают о войне русские мальчики, — говорит Валерка.

— Скажи ему, что мы против войны, но многое зависит и от Америки.

Валерка переводит.

— Он говорит, что они в Америке тоже не хотят войны.

— А их политика? — говорю я. — Напомни ему про их политику. Про гонку вооружения.

Валерка переводит, слушает и долго молчит.

— Ну, что? — спрашиваю я.

— Он говорит... я не совсем понял... он говорит, что гонка вооружения — это еще не вся Америка. Ты понимаешь?

— Да. — говорю я. — Скажи ему, пусть они там не допускают эту гонку.

Валерка переводит: Американец говорит что-то, улыбается и кивает мне.

— Он говорит, — переводит Валерка, — что и он того же мнения... И еще он говорит, что это просто поразительно — все в России занимаются политикой.

— Нет, — говорю я, — просто у меня папа воевал на войне и дядя тоже. А дядю ранило в голову на войне... У него теперь щека и рот не в порядке, и он не может как следует играть на трубе, а ведь до войны он был первым трубачом в Ленинграде. Переведи ему.

Валерка переводит.

Я вижу, как лицо у американца становится серьезным. Он долго молчит.

Потом что-то говорит Валерке.

— Он говорит, — переводит Валерка, — что он сам был на войне. Летчиком. Сорок третий, сорок четвертый, сорок пятый год. У него два тяжелых ранения. Но он говорит, что война — это не то, чем бы он хотел заниматься каждый день. Он любит строить дома. Он архитектор.

Американец пожимает мне руку.

— Спроси, у него есть дети? — говорю я.

— Да. Двое. Мальчики.

— А они играют в футбол?

Валерка спрашивает.

— Да, только этим и занимаются.

Мы все трое хохочем.

Американец прямо заливается.

Я смотрю то на него — как забавно набегают у него морщинки возле глаз, — то на Валерку — Валерка тоже хохочет, — то снова на американца, и вдруг они смолкают и смотрят куда-то влево, мимо меня.

Я оборачиваюсь. Высокий парень в серой шляпе идет по дорожке в нашу сторону. Не знаю, узнал ли он меня, но я-то его узнал. Еще бы. Это Бен. Тот самый тип, который сидел у нас дома, когда я пришел с Лидией.

Бен медленно проходит мимо нас, внимательно разглядывая американца. На меня и Валерку он не смотрит. Он идет медленно и все оборачивается и глядит на американца. Я слышу, как Валерка шепчет: «Потрясающий тип», как что-то говорит американец, я вижу длинные удаляющиеся ноги Бена, все дальше, дальше, и вдруг что-то сжимается во мне, я вздрагиваю и бегу за Беном.

Он уже почти у самого выхода. Я догоняю его, забегаю вперед и останавливаюсь перед ним. Он тоже останавливается и смотрит на меня. Неужели до сих пор он не узнал меня?! Все во мне кипит. Я так ненавижу его в этот момент, что дрожу весь и слабею.

— Слушай, ты, — говорю я, и, как тогда, на черемухе, или в классе, перед Георгием Анисимовичем, мне кажется, будто это говорю не я, а кто-то другой. — Слушай, ты, верни Ишкины ботинки!

— Какие ботинки? — удивленно спрашивает он, но я вижу, что он узнал меня.

— Не притворяйся. Ты что, не узнал меня?!

— Первый раз вижу.



— Не ври... — шепчу я ему в лицо снизу вверх. — Я Ишкин брат. Верни ему ботинки! Слышишь?!

— Ид-ди, мелочь, — говорит он и боком отталкивает меня, чтобы уйти.

Я хватаю его за ремень, потом я чувствую какую-то вспышку в голове и сильную боль в руке, куда-то лечу...



Я поднимаю голову — Валерка что-то говорит американцу, трясет ему руку и бежит ко мне.

Бен большими шагами уходит направо по Невскому.

— Давай за ним! — вскакивая, говорю я Валерке. Про руку я и не думаю.

— Ты его разве знаешь? Я-то его видел несколько раз, все возле иностранцев трется.

— Потом, потом. Давай быстрее!

Прячась за людей, мы выслеживаем Бена до самого Гостиного двора. Там он садится в троллейбус. Мы тоже. Мы едем куда-то, неизвестно куда. В окно я не смотрю. Надо следить за Беном, когда он выйдет, но так, чтобы нас он не видел.

— Надо выследить, где он живет, — шепчу я Валерке.

— А вдруг он не домой едет?

— Там посмотрим.

Мы едем долго. Я боюсь, что станет мало народу и Бен нас заметит. Наконец он выходит, мы за ним, но он тут же скрывается в парадной.

— Как теперь? — говорит Валерка.

— Будем ждать, — говорю я. — Если не выйдет до часу ночи, — значит, здесь живет.

— Зачем он тебе?

— Я хочу ему отомстить за то, что он меня ударил. Самому, что ли, не понятно?!

— Понятно, — говорит Валерка. — Ты Ишке скажешь?

Я молчу.

Из парадной выходит дворничиха.

— Послушайте, — говорю я. — Этот длинный здесь живет?

— Какой длинный?

— Вот только что прошел. В серой шляпе с загнутыми полями.

— Здесь, здесь, — говорит она, — в девятой квартире. А вам зачем, мальчишки?

— Пошли, Валерка, — говорю я. — Пойдем посмотрим, что это за улица. — Рука у меня болит изо всех сил.

Валерка кивает.

Теперь я знаю, где живет этот гад с черными ногтями.

МЕЖДУ НАМИ, МУЖЧИНАМИ...

Я сидел дома один и доделывал уроки и вдруг — даже не знаю почему, ведь я об этом вообще не вспоминал, с самой осени, — вдруг подумал о той ракете в Гогином школьном дворе. Как она там? Стоит, наверное, одна-одинешенька, в темноте, и никто на ней не летает. Я подумал о ней, и мне тут же ужасно захотелось пойти туда и посмотреть на эту ракету, и так, чтобы там, во дворе, никого не было. Так захотелось, что я даже решил не играть сегодня в сарае на трубе, хотя и собирался весь день.

Внизу, на лестнице, я увидел девушку-почтальона, она запихивала в ящики газеты и письма.

— Погодите, — сказал я. — Погодите опускать, мне там нет письма?

— А как тебя зовут? — спросила она. — Из какой квартиры?

— Квартира четырнадцать, — сказал я. — Пряжников. Пряжников Алеша.

— Нет, — сказала она, перебрав письма. — Тебе нет. Ты не расстраивайся, сегодня попозже будет еще доставка. Откуда письмо?

— Из тайги, — сказал я. — От 'папы. — Она была очень симпатичная, эта почтальонша.

— И я из тайги, — неожиданно сказала она.

— Как же так? — сказал я. — Сама из тайги, а сама здесь.

— Ну, я родилась в тайге, — сказала она.

— А зачем приехала? — спросил я.

— А твой папа зачем в тайге? — спросила она.

— Он строит там город, — сказал я.

— А я здесь разношу письма, — сказала она.

— Ну, это ерунда, — сказал я. — Город, который он строит, нужно построить только там, а письма где угодно можно разносить.

— Я пошутила, — сказала она. — Я здесь потому, что я здесь учусь.

— На кого? — спросил я. — Не секрет?

— Не секрет, на шофера.

— Ну да? Здорово! — сказал я. — А что, разве там, где ты жила, нельзя было учиться?

— Почему? Можно, — сказала она.

— Ничего не понимаю, — сказал я. — Чего ж тогда было ехать?

— Ах ты, — сказала она. — Какой придира! У меня здесь он, понимаешь?

— Не-а.

— И не поймешь. Жених у меня здесь. Один молодой человек, который в меня влюблен.

— Отчего же, — сказал я. — Очень понятно. А ты в него? Влюблена?

— Да, — сказала она. — Да. — И мы оба засмеялись. Тут же мы вышли вместе на улицу.

— Привет, — сказала она. — Мне направо.

— А мне налево, — сказал я. — Привет.

Мы разошлись в разные стороны, и еще раз оба обернулись и помахали друг другу рукой и снова рассмеялись.

Я пошел дальше, думая об этой девушке, которая хочет быть шофером; и о Лидии, которой нравится бегать по квартирам и лечить людей; и о Семке, который очень любит стихи и даже сам их пишет, хотя и работает слесарем; и об Ишке, который больше всего на свете любит стоять с поднятой рукой на ринге, когда все на него смотрят. Когда все на него смотрят...

Я думал о них о всех, пока не дошел до Гогиной школы, и только тут сообразил, что ведь тогда, осенью, мы прошли на космодром во дворе через школу, а сейчас она уже закрыта, и как пробраться к ракете, я не знаю.

Вдруг я увидел нашу Надьку Птичникову и спрятался за автомат «Газированная вода», чтобы она не приставала, чего я тут делаю. Я вспомнил, что она здесь совсем рядом живет, чуть ли не в соседнем доме, и вспомнил еще, как все мы в классе ее спрашивали, зачем она ходит к нам в школу, все-таки минут пятнадцать ходьбы, а не запишется в ту, которая здесь же рядом, в соседнем доме. Действительно ведь глупо. И спать утром меньше получается.

Надька сказала тогда, что это папа ей велел, что он доктор и говорит, что утром ей обязательно нужно делать длительную прогулку пешком, чтобы дышать, так сказать, свежим воздухом перед занятиями.

Мы стали ужасно хохотать и посоветовали Надьке

все равно уйти из нашей школы и записаться в какую-нибудь другую, подальше, куда-нибудь к черту на кулички, чтобы часами, так сказать, дышать этим свежим воздухом.

Надька сказала тогда, что папа говорит, что если школа и дом совсем рядом, то она, Надька, не успеет после уроков пообщаться со своим коллективом и обсудить впечатления дня.

Тогда мы стали хохотать просто как ненормальные, я даже объяснить не могу почему, а Саня Фукс сказал, что пусть она учится около себя, а общаться приходит к нам, раз уж это так необходимо.

— Законно было бы, — сказал Веня Рогалев, — вам с папой отправиться пожить в горы. Ты идешь, допустим, из школы домой, километров двадцать, дышишь там свежим воздухом, часами общаешься с классом, а он уже стоит себе на горе и на все это смотрит.

Надька вдруг стала такая серьезная-серьезная и сказала:

— Балда ты, Веня.

Она так классно это сказала, прямо как мальчишка, что мы от нее отстали. Вообще она ничего. Мы к ней только потому и приставали, что она сама всегда к нам пристаёт с глупыми вопросами, вот как тогда, на хоккее.

Надька не заметила меня за автоматом «Газированная вода». Она шла мимо, волоча по тротуару огромный какой-то мешок. «Неужели бумажной макулатуры столько набрала?» — подумал я, но в мешке что-то брякало, а что — я не знал. Меня прямо так и потянуло к этому мешку, чтобы узнать, и я пошел за Надькой, хотя ужасно боялся, что она обернется и будет меня расспрашивать. И она обернулась. Ее какая-то девчонка догнала и окликнула. А я сделал такой невероятный прыжок в сторону и спрятался в подворотню.

— Надь, а Надь, у тебя там чего? — спросила эта девчонка.

— Велосипед. Мне подарили, — сказала Надька. — Разобранный.

Эта девчонка вдруг закричала:

— Ой! Прелесть! Надька, пойдем ко мне. Соберем его. Сразу же. Я тут живу. — И она стала тащить Надьку за мешок прямо в ту подворотню, где я стоял.

Надька стала «неткать», а та все тащила и тащила ее, а я все отступал и отступал назад, и неожиданно подворотня кончилась, и я оказался во дворе.

С трех сторон двора были дома, а с четвертой — ничего, просто забор и калитка. Я поглядел поверх забора и вдруг увидел острие той ракеты...

Я быстро вошел в калитку; за забором был какой-то садик, я пересек его, там был еще забор, маленький, я перелез через него и оказался один в школьном дворе. Светила луна, и ракета на деревянном помосте блестела, и снег блестел под луной, — вернее, не снег, а темный лед, потому что сегодня несколько раз уже таяло и потом опять подмерзало.

Никого во дворе не было.

Я осторожно пошел по темному блестящему льду к деревянному помосту и возле лесенки на помост увидел, что стола «Научный центр» нет и из-под помоста торчит конец провода, через который управлялась ракета. Я так и думал, что, когда снег, они не летают.

По лесенке я забрался на помост, прошел до ракеты, взялся рукой за дверцу, и... она открылась. Почему-то открылась. Я даже растерялся. Что они, в этой школе, совсем уж не следят за своей ракетой? На произвол судьбы бросили? Как-то не верилось. Или там есть сейчас кто-нибудь?

— Есть кто-нибудь? — громко сказал я в дверцу.

— ...кто-нибудь? — раздался тихий голос из ракеты. Эхо!

— Я залезаю! — громко сказал я — на случай, если там все-таки кто-то есть.

— ...заю, — сказала эхо.

Я полез в ракету.

Сначала было несколько ступенек, а потом пол — ровная площадка. В своем сарае я привык к темноте. Я быстро ощупал все внутри: вот космонавтское кресло, вот микрофон, экран на стене, на котором пускают кино... Скоро я совсем привык и, хотя ничего не разбирал внутри ракеты, увидел все-таки тоненькую полосочку лунного света, который шел из дверной щели (дверь до конца я не закрыл), и еще свет из окошка, круглого, того самого, наверное, в которое смотреть — как в перевернутый бинокль. Но в окошечко я ничего не увидел: стена школы была темной и очень далеко.

Было тихо-тихо кругом меня, я сел в космонавтское кресло, закрыл глаза и — полетел...

Но я недолго летал, только отдал кой-какие распоряжения Валерке Бурцеву, Лялику Яновскому, Веньке Рогалеву, Сане Фуксу и... и Гоге — потом мы вернулись. Все-таки если бы что-то видно было в окошечке и на экране двигались разные звезды и планеты, было бы совсем другое дело.

После я представил себе, что я так и сижу в этой ракете, но не летаю, а просто так сижу, как на телеге, потому что сейчас уже такой необыкновенный век космонавтики и такие невероятные ракеты, что эту, мою, просто выбросили как старую рухлядь, и она никому не нужна. И она одинокая такая, эта ракета, она сама по себе, ну, грустная какая-то, что ли... Я видел однажды такую вот, как эта ракета, лошадь, большую белую лошадь; она стояла на канале Грибоедова, запряженная в телегу, и ела листья на дереве. Неожиданно приехали и встали с нею рядом три огромные грузовые «татры», красивые удивительно, и лошадь вдруг бросила есть эти свои листья и стала смотреть в землю.

Она была как старая-престарая машина, как старая ракета, и я начал думать про эту лошадь, и про ракету, и про ту заваливающую машину, неизвестно какую, которая все хотела обогнать «Волгу» и вдруг — стоп! — и задымилась, и я сидел и думал об этой машине, и о той большой белой лошади, и обо всем на свете.

— А тебя как зовут? — услышал я вдруг девчоночий голос и вздрогнул.

— Лена. А тебя?

— Меня — Катюша. Я во втором учусь.

— А я в первом.

«Совсем малышки, — подумал я. — И откуда они вдруг взялись так поздно во дворе?» Я слышал, как они идут по деревянному помосту, приближаясь к ракете.

— Вот она, ракета, — сказала одна.

Потом вторая сказала:

— Большущая, как сосна.

— Ага, — сказала первая. — Спорим, что дверь в ракету закрыта!

— Не-а, — сказала вторая. — Не буду!

— Почему?



— А чего мне спорить, я и сама думаю, что она закрыта.

— Ну тогда спорим, что открыта.

Я жутко напугался, что они сейчас откроют дверь, полезут сюда и умрут со страху. Но вторая сказала:



— Не-а. Не буду. Я поспорю, что она закрыта, а она вдруг открыта, и я проспорю. Не хочу. Хочешь, я тебе стих прочту, я сама сегодня сочинила?

— Ага, — сказала первая.

Вторая начала:

— Который час? — спросил Василий.
— Сейчас уж полвторого.
— Который час? — спросил Василий.
— Сейчас уж полвторого.
— Который час? — спросил Василий.
— Сейчас уж полвторого.
— Ах, надоел ты нам, Василий!
Сейчас уж полседьмого!

Потом она перевела дух и сказала:

— Сочинила Лена... Елена Волкова, первый класс «Б».

— Чудно, — сказала эта... Катюша, кажется. — А это кто, Василий?

— Так, никто, — сказала вторая. — Кто-то...

— Тебе не страшно здесь, нет? — спросила Катюша. — Темно ведь. Ты любишь, когда солнце? А, Лена?

— Люблю, — сказала Лена.

— А когда темно?

— Люблю.

— А я не люблю, когда темно. А ты и то и то? Да? А что больше?

— Ничто больше. Совсем одинаково.

— А когда серый день, любишь?

— Люблю.

— Одинаково?

— Ага.

— Так что же ты любишь?

— Я все люблю, — сказала Лена. — Просто все. Все вокруг.

— А я жуткая трусиха, согласишься ли? — сказала Катюша. — Жу-уткая. Пойдем, а? Сейчас луна за тучу улезет.

Лена ей что-то ответила, но я ничего не расслышал: они уже уходили.

Я подождал еще немного, чтобы их не напугать, и вылез из ракеты.

Дверцу я плотно прижал руками — что-то шелкнуло, я потянул дверцу на себя, но она не открылась.

Отчего же она раньше была открыта, я так и не понял.

Дома, в кухне, на нашем столе, лежало мне письмо от папы. Ишки дома не было, мама работала в вечернюю смену: кто вынул из ящика и принес мне письмо, — я не знал. Я вспомнил сегодняшнюю девушку-почталь-

она и то, как она сказала: «Ах ты, какой придира!» — ужасно все-таки симпатичная девушка, я даже улыбнулся и распечатал папино письмо.

«Леха, здравствуй, — писал папа. — Я отвечаю тебе, как всегда, сразу же, и поэтому мое письмо будет коротким: и я и все мы здесь думаем о том, только о том, что произошло у нас в городке.

Погиб Миша Фасахов.

Мне трудно назвать его предателем, но я уже не могу называть его нашим товарищем: он ушел от нас, бросил нас и работу. Если бы, Леха, пока он был с нами, он был плохим товарищем, все было бы проще, а он был хорошим товарищем, и мы так и не знаем, Леха, почему он ушел от нас. Мы замечали иногда, что он грустный какой-то и что работа ему не под силу, но ведь грустить можно и по дому, а в работу просто еще не втянуться, ты понимаешь меня, Леха?

По вечерам он бывал веселее и чудесно пел под гитару. Он был высокий, худой и красивый.

Он ушел неожиданно, ночью. Когда мы проснулись рано утром, кровать его была аккуратно застлана и на ней лежала снятая со стены гитара, будто он хотел этим сказать, что оставляет ее нам.

Вот его записка:

«Я ухожу от вас. Не судите меня строго. Миша».

И больше ничего. Он не написал, почему уходит. Я думаю, он не выдержал. У нас трудно, Леха.

Он ушел поздно ночью и в сорока километрах от нас попал в буран, сбился с дороги и замерз.

Помнишь, Леха, я писал тебе о том, что такое «профилактика»? Возможно, ее-то ему и не хватало, ты понимаешь?

Он был хорошим товарищем, Миша Фасахов, и поэтому нам, Леха, особенно трудно думать о том, что случилось.

Я прощаюсь с тобой. Пиши обязательно. Ты делаешь зарядку? А маме на рынок за картошкой ходишь?

Не рассказывай ей о гибели Миши Фасахова, не надо. Она будет волноваться за меня.

Это разговор между нами, Леха, так сказать, между мужчинами, понял?

Пиши.

Твой папа».

ВОСЬМОЕ МАРТА

Сегодня весна по-настоящему. Не так, когда говорят «весной пахнет», а просто весна. Уже весна — и все. Небо синее. Солнце светит, отовсюду вода капает. С крыш снег бросают: бум-бум! Дворники ругаются, чтобы никто не лез туда, где снег бросают, — еще убьет. Все смеются. Действительно, может очень сильно попасть. Больно будет. Это ни к чему. И еще сегодня Восьмое марта, женский праздник. Такой праздник всего раз в году бывает. Женщинам, наверное, приятно, когда такой праздник и такая погода. Все идут, смеются и поют. Про себя, конечно, поют. Это трудно себе представить, если все вместе вдруг вслух запоют. Но некоторые поют и вслух.

Вот и у меня сегодня такое настроение. Казалось бы, чего особенно радоваться, но я все равно радуюсь. Знаю, что это вот плохо и вот это, а сам иду и радуюсь. И Лидия сегодня такая красивая. Тоже, наверное, потихонечку поет. На ней пальто голубое и фестивальнй платочек. А в руках цветы — мимозы. Не могу сказать, что они какие-нибудь там такие, из ряда вон выходящие — но все вместе очень здорово: и что весна, и Лидия в фестивальной платочке, и брошка из пенопласта — белая роза, которую я сегодня в мамин обеденный перерыв отдал маме, и то, что мы с Лидией пешком идем куда-то к черту на кулички, прямо даже сам не знаю куда, в какую-то больницу, где Гога уже поправляется.

Я вчера на арифметике сидел и потихонечку доделывал мамину брошку. Георгий Анисимович весь урок спрашивал. Меня вторым вызвал, я пять получил. Потом он других спрашивал, а я брошку доделывал.

Мне брошка так понравилась, что я позабыл обо всем, вынул ее из-под парты, стал ею любоваться и вдруг неожиданно сам для себя громко сказал:

— Здорово. Вот чудо!

Все обернулись.

— Какое у тебя там чудо, Пряжников? — спросил Георгий Анисимович.

— Брошка, — сказал я. — Я маме к завтрашнему дню брошку сделал.

— На уроке делал? — спрашивает Георгий Анисимович.

— Да. А что? — удивился я. Совсем я с ума сошел!

Все стали смеяться.

— Ай да значок! — закричал Валерка.

— Покажи, пожалуйста, — попросил Георгий Анисимович.

Я отдал ему брошку, тут звонок зазвенел, и все Георгия Анисимовича окружили. Я стоял около него и всем говорил: «Не лапай, не лапай!»

— Молодец, — похвалил меня Георгий Анисимович. Потом, уже в коридоре, сказал: «Тебя завтра Лида ждет в три часа. Ты ведь хотел к Гоге в больницу пойти? Как твой брат? Все еще чемпион?»

— Все еще. Передайте Лидии, что я приду.

В мамин обеденный перерыв я к ней на фабрику бегал.

Я там всех женщин поздравил.

Здорово там. Все ходят в белых халатах, как доктора. Маме брошка очень понравилась. Она ее тут же на халат прицепила. Я думал, будет плохо — белое на белом. Оказалось — красиво. Очень. Белые-то цвета тоже ведь разные бывают.

— А в школе как? — спросила мама. — Не схватил двоечку?

— Нет, что ты! — сказал я. — Пять получил. По арифметике.

— Вы у меня с Ишкой молодцы, — сказала мама. — Только ты не всегда. А это видишь что? — и она достала из халата и показала мне письмо. — Точно пришло!

— От папы? — спросил я.

— Ага.

— А мне нет.

— Тебе потом. Ты же не женщина. У них там всего пятнадцать градусов холода. Не замерзнут.

«У них там холодно, — подумал я. — У них там очень холодно. У них там Миша Фасахов замерз».

— Не замерзнут, мам, точно, — сказал я. — И вообще он скоро приедет.

— Да, — сказала она, — он скоро приедет. Ну, беги. Лидии я ничего не подарил, постеснялся, просто по-

здравил. Вон она какая идет. Боязно даже. Еще не угодишь.

— Не иди по лужам, — говорит она, — простудишься.

— Ты что поёшь? — спрашиваю я.

— Кто тебе сказал, что я пою?

— Я вижу.

— Как же ты видишь, что я пою? Ведь я молчу.

— Я такой человек. Вот заткни мне уши.

— Это еще зачем?

— Лидия, ну пожалуйста.

Мы останавливаемся, и Лидия затыкает мне уши.

— Теперь пой, — говорю я. — Только еле-еле, чтобы я наверняка не слышал.

Она поет.

— Знаешь, что ты пела? — говорю я, вырываясь.

— Что?

— «Прямо в сердце дверь открой». Точно?

Лидия поражена.

— Я еще не то умею, — не унимаюсь я. — Вот смотри! — Бац! — и я неожиданно влетаю своими ногами в лужу.

Бедная Лидия! Бедные ее чулки! Что я наделал?!

— Лидия, — говорю я, — Лидия. Прости меня! Лидия!

— Позвольте дать вам платок? — слышу я знакомый голос.

Я оборачиваюсь.

— Семка! — говорю я. — Ты откуда?

Я хватаю у него платок и отдаю Лидии. Лидия берет платок, ругает меня и смеется.

— Я с работы иду, — говорит Семка. — А вы куда?

— Мы кой-куда, — говорю я. — Лидия, это Сема, Ишкин друг. А это Лидия.

Они знакомятся.

— Это делать надо так, — говорит мне Лидия: — «Лидия, позволь представить тебе Сему, Ишкиного друга...» Понял?

— Хорошо, буду знать.

Семке:

— Мы идем одну девочку в больнице навестить. Хотите с нами?

— С удовольствием, — говорит Семка. — Только я грязный.

— Ничего, — говорит Лидия. — Вы где работаете?

— Я слесарь. На фабрике чистого белья.

Мы смеемся.

— Ишка там тоже слесарем работал, — говорю я Лидии.

— Сейчас мы вас поздравим, — говорит Семка и бежит покупать цветы.

Мы с Лидией ждем его.

— Ты видела Ишку? — спрашиваю я. — После хоккея?

— Видела.

— В кино были?

— В кино.

— Один раз?

— Два. И один раз в кафе.

— Он не напился? Нет? — вдруг спрашиваю я.

— Что ты, глупый!

— Смотри, а то он теперь пьет.

— Кто это?!

— Так, я знаю. Только ты ему не говори. И что я сказал тебе, тоже не говори. Это ведь не мое дело. Он экзамены завалил. Мама не знает. Стипендии у него теперь нет. И, знаешь еще что, дай мне взаймы денег десять рублей.

— Тебе зачем?

— Когда-нибудь расскажу. Дашь?

— Дам, — говорит она. — Послушай...

— «Вот вам цветы, прекрасная синьора, — возвращаясь с цветами и даря их Лидии, торжественно произносит Семка. — Надеюсь, что увижусь с вами скоро». Это я сам сочинил. Не очень здорово, но ведь сразу.

— Вот вы какой, — задумчиво говорит Лидия. — Вы Ишкин друг?

— Да, — говорит Семка. Но как-то странно он это говорит.

Лидия смотрит на него. Может, зря я ей сегодня сказал про Ишку? Будет думать, спрашивать. Зачем сегодня? Вот дурак. А вообще — нет. Вон, болтает о чем-то с Семкой, смеется. Скрывает, что ли? Или ей наплевать на Ишку? А вдруг наплевать? А я туда же. Все рассказал. Вот балда!

Лидия сжимает мне руку. Семку она тоже берет за руку.

— Ну, мальчишки-зайчики, — говорит она. — Пошли быстрее. Вдруг там приемные часы кончатся.

— Такси, такси! — кричит Семка.

ВЕСЕЛАЯ БОЛЬНИЦА

Гога лежит в пятнадцатой палате, на последнем, третьем этаже. Этот этаж для тех, кто скоро поправится.

На площадке третьего этажа стоят больные. Они уже поправляются. Все в пижамах. Не люблю я пижамы. Пусть скорее все поправляются и не ходят в пижамах.

На площадке между этажами стоят две тетеньки в белых халатах. Они следят, чтобы больные не ходили по лестнице, и еще они выдают по пропускам халаты гостям.

Я, Лидия и Семка — гости. У всех в руках какие-то баночки, коробочки. А у нас цветы, а у Лидии еще апельсины.

— Отдайте ей цветы, — говорит Лидии Семка. — И которые я вам подарил. Я не обижусь, я вам еще куплю.

Лидия кивает и, набросив халат, идет наверх по лестнице.

Потом пойду я. Семка не пойдет. Он ведь не знает Гогу. Он просто так, за компанию.

Я очень волнуюсь. Как она меня встретит, Гога? А все кругом смеются. Никогда я не видел таких веселых больниц. Это, наверное, потому, что весна и праздник и все больные скоро поправятся. Лидия решила, что апельсины отдаст она, а я — цветы. Я стою с целой охапкой цветов возле Семки и ужасно волнуюсь.

— Ну, как живешь, парень? — спрашивает у меня Семка.

— Ничего, помаленьку. А ты как? Чего так редко к нам заходишь?

— Э-э, парень... дела. Масса дел. Я ведь теперь — ого! — слесарь-рационализатор. Одну хитрую штуку выдумал.

— Какую штуку?

— Ну... такую. Тебе не понять.

Я не сержусь на Семку, мне на самом деле не понять.
— А ты не собираешься в институт поступать? — спрашиваю я. — Иди прямо с этой штукой, тебя примут.

— Там таких, как я, знаешь сколько? — говорит Семка, — Хотя, может, попытаюсь. На вечерний.

— Это как?

— Ну, днем работаешь, а вечером учишься.

— Смотри, не заболей от такой жизни, — говорю я.

— Не заболею, — Семка смеется. — Дай поступить.

— Сем, — говорю я. — Только честно. Тебе нравится Лидия?

— Да, — говорит он. — Нравится.

— А почему? Ты можешь сказать — почему?

— Как бы тебе сказать... Она... она какая-то плавная. Понимаешь? Нет?

— Нет, не совсем. Разве это обязательно, чтобы плавная?

— Нет, что ты. Просто мне она нравится за это. Она плавно ходит, она плавно говорит, она даже смотрит как-то плавно...

— Она в медицинском учится, — зачем-то говорю я.

— Вот-вот, — говорит Семка. — Именно. Что-то в этом роде. Возьмет больного за руку, и тот улыбнется. Что-то похожее. Плавно. Понимаешь?

— Не-а, Сем, не до конца. А Ишка тебе за что нравится?

— Он резкий. Острый. За это.

— Но это же совсем наоборот!

— Вот именно, — говорит Семка. — И все-таки за это. Странно, правда?

— Да, — говорю я. — Очень. А за что он тебе не нравится? Ты можешь сказать?

Семка молчит и щиплет какой-то цветочек из моей охапки.

— Не могу, — говорит он наконец.

— Ты не хочешь, да? — спрашиваю я.

— Нет, не поэтому. Просто я еще не разобрался толком.

Я не верю, что он поэтому не хочет говорить, хотя, может, он и не разобрался.

— Плавная, резкий -- странно, — говорю я. — Я, Сем, чуть-чуть понимаю, ну, чуток, а вообще нет. Это, наверное, оттого, что ты поэт. Да?

— Не знаю. Ужасные стихи: «Вот вам цветы, прекрасная синьора...» Ужасные. Как, по-твоему?

— Да. Неважные, — говорю я. — Ты не сердись. — Я решил, что лучше правду сказать, ведь сказал же он мне, что кое в чем ему Ишка не нравится, не стал врать.

— Спасибо, — говорит Семка. — Я очень рад, что ты сказал правду. А вообще ты любишь стихи?

Я почему-то ужасно смутился, когда он это спросил.

— Не знаю, — говорю я. — Кажется. Я, наверное, не разбираюсь. Пушкина я люблю. Или еще: «Ах, надоел ты нам, Василий. Сейчас уж полседьмого».

— Это что такое? — спрашивает Семка.

— Так, — говорю я. — Ерунда. Одна первоклассница сочинила. Просто запомнилось.

— Непонятные стихи, — говорит Семка, — вернее, строчки.

— Сем, — вдруг говорю я. — Сем! Слушай, что с Ишкой такое? Почему он такой...

Возвращается Лидия.

— Иди, — говорит она, — Гога тебя ждет.

— Гога меня ждет?!

— Да, да, — говорит Лидия и как-то хитро тычет меня в живот пальцем и улыбается.

— Да она меня и не помнит!

— Помнит, помнит.

— Ну, я иду, я иду...

— Погоди, а халат?

Ах да, халат ведь еще!

Лидия кладет всю охапку цветов на окно и надевает на меня халат.

— Смотрите-ка, кто нас ждет, — говорит она.

Я гляжу в окно. Перед входом в больницу стоит Ишка с цветами в руках. Но мне сейчас не до этого. Халат на мне длинный, почти до полу, путается у меня в ногах. И еще мои цветы разваливаются. Я беру их, как дрова, в охапку, и поднимаюсь по лестнице.

— Палата пятнадцать. Она тебя там на диванчике ждет! — кричит мне вдогонку Лидия.

Я вхожу в коридор.

— Где палата пятнадцать?

Тетенька за столиком с градусниками показывает мне налево.

Я иду по коридору. Коридор ужасно длинный. Вон

мне навстречу такой же, как я, идет. Белый халат до полу и охапка цветов. «Может, кто-нибудь к Гоге из ее класса?» — думаю я и вдруг соображаю, что это же зеркало, вот балда-то! Это же я сам иду. А где же палата пятнадцать? Налево смотрю, направо смотрю. Вот она. Опускаю глаза — Гога сидит на диванчике и смеется. Нет, я настоящая балда, ведь диванчик-то в коридоре, а я думал, — в палате. Чего она смеется?

— Здравствуй, Гога, — говорю я. — Как ты...

— Садись, — Гога хлопает по диванчику рядом с собой. — Садись, чего ты стоишь?

Я сажусь. Халат на мне прямо как мантия. А Гога в пижаме. Ничего, скоро поправится.

— Это мне цветы? — спрашивает Гога.

— Ох! Да, да, ну конечно! — я вскакиваю. Совсем я сегодня балда. — Поздравляю тебя, поправляйся и не болей.

— Я уже почти, — говорит Гога, берет у меня цветы и раскладывает их у себя на коленях.

— Какой ты смешной в своем халате, — говорит она. — Как дервиш.

— Как кто?

— Как дервиш.

— А ты в своей пижаме...

— Как кто?

— Как черепаха, — говорю я.

— Ну уж и сказал.

— Как сказал, так и сказал. Нечего.

— Приходи ко мне в гости, когда я поправлюсь, — говорит Гога.

— А ты хочешь?

— Глупый ты, — говорит она. — Слушать надо.

— Хорошо, приду, — говорю я.

— Только ты не будешь просить меня поцеловаться?

— Нет, нет, что ты! — говорю я.

— Смотри, — говорит Гога. — А то в поддых — и все.

— Нет, не буду, — говорю я. — Честно. А ты почему тогда не стала со мной разговаривать, ну, тогда, осенью, когда в ракете летела, а я с тобой по телефону говорил?

— Я не помню, — говорит Гога. — Какое это имеет значение? Не стала — и все.

— Ага, — говорю я. — Бывает. А ты знаешь, я недавно видел эту вашу ракету. Один заходил, поздно ве-

чером. Луна еще была. Ракета ничего себе, стоит, только стола «Научный центр» нет и провод управления валяется прямо на земле.

— Да, — говорит Гога. — Зимой мы не совершаем полетов. Только летом, весной и осенью. А зимой соревнуемся за право.

— Я так и подумал, что зимой вы соревнуетесь за право. Но, знаешь что, дверца у ракеты была почему-то открыта, я внутрь залез...

— Наляпал там, наверное, грязи, — говорит Гога. — Зачем ты полез?

— Нет, нет, Гога, — говорю я. — Ноги я вытер. Честно. Не наляпал. Я только немного в космонавтском кресле посидел и ушел.

— Безобразие, — говорит Гога. Но это уже не про меня. — Бесхозяйственные какие. Неужели не могли на зиму ракету запереть!

— То-то и оно, — говорю я. — Замок-то там есть. Когда я вышел, я дверцу прихлопнул, и она закрылась: замок щелкнул. Я подергал — не открывается. Это не твои ребята осенью не закрыли. Здесь дело в чем-то другом.

— Безобразие, — говорит Гога. — Я возмущена. — Она что-то еще говорит, но я почему-то не слушаю ее, я смотрю, как прыгает бант на ее голове, а нос у нее смешной такой, кругленький, как орешек, все совсем такое же, как тогда, на кухне у них дома, когда я сказал: «Позволь, я тебя поцелую». Я смотрю на нее, ничего не слушаю и только потом, будто издалека, слышу, как она говорит:

— Ну, ты иди. До свиданья. Мне почитать хочется. И вообще.

— До свиданья, Гога, — говорю я и иду обратно по коридору. Вот это халатик, а? Так и путается в ногах. Какой-то дервиш. Гога, наверное, смотрит и смеется. Оборачиваюсь — ее уже нет.

Мы одеваемся и выходим на улицу. Ишка нас еще не заметил, и я вижу, как он прикуривает одну сигарету от другой.

— Здорово, Ишка, — громко говорит Семка.

Ишка оборачивается и смотрит на нас.

— Здравствуй, Сема, — наконец произносит он. — Вон вас здесь сколько.

Мы молчим.

— Ты куда? — спрашивает у меня Ишка.

— Домой. Маму надо поздравить.

— Ты ее еще не поздравлял?

— Нет.

— Поезжай. Я приеду попозже.

— Поехали вместе, Леха, — говорит мне Семка, — нам по пути.

Мы прощаемся и уходим.

— До свиданья, ребята! — кричит нам вслед Лидия.

Мы оборачиваемся. Лидия смотрит на меня, а Ишка — куда-то в сторону.

Мы с Семкой машем им рукой и идем дальше. Мы молчим.

— Ты сам доберешься до дому? — спрашивает потом Семка.

— Глупый вопрос, — говорю я. — Конечно.

— Деньги есть?

— Да.

Он пожимает мне руку и уходит куда-то...

Где я нахожусь? Непонятно.

Я лег спать в этот день поздно, Ишка так и не пришел.

КАК МНЕ БЫТЬ?

Пусто в квартире. Никого нет. Все разъехались. Трофимов, геолог, уехал в экспедицию, куда-то в Казахстан, что ли, месяцев на шесть. Он каждый год так надолго уезжает. Такая работа. Это называется «ездить в поле». «Скоро поеду в поле», — всегда говорил Трофимов. Я, когда маленький был, про себя добавлял: «Соберу ромашек, погуляю и вернусь». Но Трофимов уезжал и не возвращался полгода. Понемногу я понял, что значит «уехать в поле». И, между прочим, ничего странного в этом выражении нет.

Бабушка Савская тоже уехала. На Кубань, к своему сыну. У нее сын в армии служил. Отслужил, вернулся в Ленинград, поработал на заводе — не понравилось, он и уехал на Кубань и ее к себе пожить пригласил. Я его плохо помню: он, когда ему лет шестнадцать было,

женился — так все во дворе говорили — и с нами не жил.

Уехали Трофимов и Савская — и все. Никого больше нет в квартире. Квартира у нас маленькая.

Я хожу на кухню и от нечего делать жгу спички. Уроки готовы. Суп для мамы ставить рано. Пойти и поиграть на трубе пока нельзя — нужно маму дожидаться. Хожу и жгу спички. На коробке написано: «Не разрешайте детям играть с огнем». Был бы я ребенком, я бы тут же сообразил, что раз «не разрешайте», — значит, родители и не разрешат, надо бы этот коробочек припрятать. Только все это ко мне отношения не имеет: я до спичек не жадный, могу их и не трогать.

Другое дело, если человек собирает этикетки от спичек, вот как Валерка значки собирает. Раздражает меня чего-то Валерка. Вечно носится по школе, орет, учится шалаяй-валяй. Ну, я понимаю, человек решил: учиться не буду. Так он и не учится, и на двойки внимания не обращает, и не ноет. А Валерка палец о палец не ударит, а сам потом начинает ныть: «Дай списать, дай списать» — и все вздрагивает: ах, сейчас его вызовут!

Не дам ему больше списывать.

Я и раньше не давал — не люблю я этого, а теперь и совсем не дам. Противно. И вообще, самое главное для него на свете — значки! Больше его ничего и не интересует. Значки, значки, значки. Красные, белые, серые. Английские, индийские, французские. С винтиком или с булабочкой. Спортивные или неспортивные. Большие — маленькие. Новые — старые. Редкие — обычные. Круглые — длинные — квадратные. Выпуклые — плоские. Всё. Больше у него интересов нет.

Ладно, пора ставить суп. Я зажигаю горелку на плите, ставлю кастрюлю. Суп помаленьку нагревается, к приходу мамы он будет совсем горячий. Минут через десять я слышу, как ключом открывают входную дверь. Вот и мама идет.

Входит Ишка.

— Как обед? — спрашивает он.

— Скоро будет готов.

Он садится на корточки, открывает дверцы кухонного стола, достает кусок булки и жует.

— Черт знает что, — говорит он, — в доме нет хлеба. Сбегай в булочную.

Я молчу.

— Слышишь?!

— Надо — сходи, — говорю я.

Конечно, я не прав, это я должен был сходить в булочную, позабыл просто. Но почему он так со мной разговаривает?

Ишка чертыхается и идет в комнату.

— Деньги на столе! — кричу я.

Суп закипает.

Через минуту Ишка возвращается.

— Вот билеты на матч, Леха, — говорит он и кладет на уголок плиты пачку билетов. — Раздай ребятам, если хочешь. Я буду выступать. Придешь?

— Нет, — говорю я.

— Ну, дело твое.

И он уходит. В булочную, наверное.

Если бы я раньше отказался пойти на его бой, он — ого бы как! — удивился. А сейчас не удивляется. Нет, не выдумал я, что Ишка другим стал. Совсем он стал другим. Совсем.

Снова я слышу, как ключ поворачивается в двери. Это уж мама, конечно.

Мама входит в кухню раскрасневшаяся, веселая, и мне становится страшно, что вот она ходит так, чему-то радуется и ничегошеньки не знает про Ишку.

— Суп готов! — говорю я. — Доложил Алексей Пряжников.

Мама смеется.

— Слушай, Алексей Пряжников, — говорит она вдруг строго. — Я твою учительницу русского языка сейчас видела.

Мне становится не по себе. Что там еще?

— Она тобой недовольна. Жаловалась.

— Почему это? У меня четверка. Четверка, по-моему, классная отметка. У некоторых тройки, двойки там... Даже единицы попадают, если уж ты так хочешь знать. Я хвастаться не буду, но четверка — это даже блеск, скажу я тебе...

— Не в этом дело. Говорит, что плохо сидишь на уроках. На днях Валерику Бурцеву глаз подбил прямо на уроке. Это правда?

— Правда, — говорю я. — Что же, она врать будет?
— Нехорошо, — говорит мама. — Уроки не для этого существуют. Какой боксер отыскался.

— А чего он булавкой от значка колется?

— Все равно плохо.

— Что же мне — жаловаться на него?

— Нет, зачем же? Дал бы ему на переменке...

— Ишь ты какая хитренькая. До перемены все пройдет, да и дал-то ему неожиданно. Он уколол — я дал.

— Я шучу, — смеется мама. — Неси суп в комнату.

Я тащу кастрюлю на стол. Мама раздевается, ставит тарелки, солонку.

— Хлеб сейчас Ишка принесет, — говорю я.

— Что с ним такое?

— Как «что такое»?!

— Алеша, — вдруг очень серьезно говорит мама, садится на стул и смотрит на меня, пристально так. — Тебе не кажется, что с Ишкой что-то не в порядке? А?

Я замираю. Я чувствую, что сейчас, вот сейчас, что-то случится, я молчу, я двигаю тарелки по столу — сейчас, сейчас я скажу ей все, все, ведь нельзя же так, пусть она знает, пусть скажет об этом Ишке, пусть...

— Нет, мам, — говорю я. — Что ты? По-моему, все в порядке.

Я гляжу на нее, но она смотрит в сторону.

— А по-моему, не все, — говорит она грустно. — Он стал какой-то раздражительный. Давно ведь уже. Про бокс ничего не рассказывает. Про институт тоже. А еще, — она зачем-то склоняется ко мне, — по-моему, он стал пить.

— Пить? Что пить?!

— Водку, вино — я не знаю, — говорит мама.

— Кто? Ишка?! — хохочу я. — Пить?! Да он же спортсмен. Пить! Смешно!

— Вот ты смеешься, а я заметила, что от него вином пахнет.

— Вином? Ерунда! — говорю я. — Ведь он же взрослый человек. Ничего странного.

— Взрослый-то взрослый, но я ведь не один раз замечала, много раз.

— Ерунда, — говорю я.

— И молчит он все время.

— Мам...

— Что?

— Знаешь что, мам? — я подхожу к ней ближе и почти шепчу: — Мам, может, он влюбился? А?

— Как влюбился?! В кого?!

— Откуда мне знать. Влюбился — и все.

— Ну уж, ты скажешь.

Она улыбается.

— Здорово, да, мам? Женится. Будут у него дети. Я дядей стану. А ты бабушкой. Дядя! Классно! Валерка Бурцев там, или Саня Фукс, или Венька Рогалев — те так и останутся, как были, а я — дядя. «Леша Пряжников, почему ты допустил в домашней работе по русскому языку одну ошибку?» — «А я, видите ли, гулял со своей племянницей, не до этого было». Завидовать будут.

— Ну, ладно, ладно, балаболка, — говорит она, — хватит. Вон он идет, кажется.

Я слышу голоса в кухне, потом дверь открывается, и входят Ишка и Семка.

— Сема, здравствуй! Наконец-то зашел, — говорит мама. — Садись обедать.

— Ой, нет, Анна Алексеевна, — говорит Семка, — я на минуточку. Спасибо.

— Садись, садись.

Мама ставит еще одну тарелку, наливает всем суп, режет хлеб.

— Совсем ты куда-то пропал, — говорит она Семке. — И на работе тебя не видать.

— У нас участки разные, — смеется Семка. — У вас — белый, у меня — черный. К вам и зайти-то боязно, чего-нибудь еще испачкаешь.

Мама тоже смеется.

— Жалуешься, — говорит Ишка. Молчал, молчал и вдруг заговорил. — Грязная работа? А ты поработай, сколько она работала, будет и у тебя чистая.

— Ишка, — говорит мама.

— Что «Ишка»?! Вечно он намекает.

Я думал, Семка встанет и уйдет, как в прошлый раз он сделал, когда они с Ишкой разругались. Они тогда тоже про что-то похожее говорили. Но Семка сказал спокойно:

— Я не намекаю. И своей работой я вполне доволен; кстати, она не грязная, как ты почему-то решил.

Но если уж говорить о какой-то чистой работе, то вовсе не надо сто лет трудиться, чтобы ее получить. Ты всего два года проработал, и пожалуйста...

— Мальчики, ну зачем вы? — просит мама.

— Нашел, чем упрекать, — зло говорит Ишка, — институтом. Да ты...

— Послушай, Игорь... — Я первый раз слышу, чтобы Семка называл Ишку Игорем. — Что ты в прятки играешь? Ведь тебе же ясно, что я тебя не институтом попрекаю, а тем, что ты считаешь, будто сменил плохую жизнь на хорошую.

— А чего в ней хорошего?

— Не знаю. Не мое дело. Только ты зря думаешь, что два года у тебя была грязная работа. Всё. Больше я об этом говорить не хочу.

— Не надо было начинать.

Семка молчит. А ведь это не он начинал. Это Ишка. Мы все молчим, пока едим второе. Я ни на кого не смотрю. Как раньше-то было хорошо. Не раз мы все вместе вот так сидели, и все было по-другому. Наверное, никогда уже так не будет. Никогда.

Семка уходит. Мама идет провожать его. Я тихонечко гляжу на Ишку. Он уставился себе в тарелку и тянется левой рукой за хлебом. Часы на руке — не его. Похожие, но другие, я знаю. Взял у кого-нибудь, чтобы мама не заметила. Она у нас близорукая, не рассматривает. А что я рассмотрю — Ишке плевать.

Мама возвращается.

— Хочешь еще котлетку? — спрашивает она у меня.

— Нет. Я уже все. Я уйду.

— Надолго?

— Погулять...

— А уроки?

— Сделал уже.

Я одеваюсь и выхожу во двор. Темно. Холодно. Опять стало холодно. Была уже весна, настоящая, а теперь опять холодина. Я иду в последний, третий двор. Темно и никого нет. Ну и очень хорошо. Никого и не надо.

Я нащупываю в кармане ключ, достаю его и отпираю сарай. В сарае еще темнее, но я уже привык. Закрываю дверь. Вот и труба под корзиной. Я нажимаю холодные клапаны. Вот так — «до». Так — «фа». Я под-

ношу трубу к губам, беру несколько нот и откладываю ее в сторону. Я сижу и слушаю, как шумит фабрика за стеной, и не играю. Просто я думаю. Как мне быть?

ВЕЧЕРА В САРАЕ

Темно в сарае. Совсем ничего не видно. Так каждый вечер. Фабрика шумит и шумит. А я все сижу и думаю. На трубе играю совсем мало. И не тянет как-то, да и мелодия уже получается, только отшлифовать осталось. Это я обязательно сделаю. Чтобы на весеннем вечере в школе у всех дух захватило.

Вот уже дней пять прошло, как Семка у нас в гостях был. Не знаю почему, только после того раза, когда Ишка так с ним разговаривал, мне к нему идти совестно. А с кем еще посоветуешься? С мамой? Нельзя. Лидия не заходит. А ведь обещала. Насчет Гоги я не знаю. Как еще она к этому отнесется? Да и поправилась ли она? Валерка не поймет. И вообще — кто он такой, Валерка, чтобы я ему все рассказывал?

Я уже привык сидеть здесь на дровах. Когда приходишь, труба холодная, только понемногу потом уже согревается в руках.

А фабрика шумит. Все время работает. Великое это дело, когда у людей чистое белье. А мой Ишка к этому делу теперь никакого отношения не имеет.

Никто его не будет разыскивать, Ишку. Никому он теперь там не нужен. Все другие делают. Что я так думаю, еще ничего не значит, совсем нет, я даже очень доволен, что Ишка в институт поступил... Только...

Я прислушиваюсь. Кто-то трогает замок с той стороны — я всегда оставляю замок, чтобы не было видно, что кто-то в сарае. Я слышу, как замок дергают с той стороны. Кто? Человек, наверное, понял, что сарай не закрыт. Дергает дверь. Я замираю, хотя дверь у меня на задвижке.

— Алеша, ты здесь?

Я вздрагиваю.

— Открой.

Это она. Я встаю, отодвигаю задвижку и открываю дверь. После темноты двор кажется светлым, и я хорошо

вижу ее перед дверью. Она, наверное, не видит меня. Я протягиваю ей руку.

— Лидия, — говорю я. — Входи, Лидия. Держись за руку, здесь темно, Лидия. Я очень рад, что ты пришла. Вот сюда, Лидия, сюда, так, та-ак. Теперь садись. Села?

— Да.

— А дверь я закрою.

— Закрой. У тебя здесь хорошо, — говорит она.

— Как же ты видишь, что хорошо? Темно ведь.

— А я вижу, — она тихо смеется.

— Ну, я очень рад, что тебе здесь нравится.

— А я рада, что ты рад. Сыграй мне что-нибудь.

— Я всего только одну умею, да и то неважно.

— Вот и сыграй ее.

Я подношу трубу к губам и тихонько дую. Звук получается глухой, хрипловатый и тихий. Я очень волнуясь. Ведь я первый раз в жизни играю на трубе не самому себе.

— Сыграй еще раз, — просит Лидия, когда я кончаю.

— Что, первый раз плохо получилось?

— Нет, нет, очень хорошо, я поэтому и прошу.

Я играю второй раз. Мне кажется, что получается лучше, чем в первый.

Потом мы сидим молча. Тишина, тихо-тихо, к шуму ведь привыкаешь.

— Товарищ Галкин, зайдите к главному инженеру!! — громко так.

— Что это?! — Лидия вздрагивает и берет меня за руку.

— Не бойся, не бойся. Это такое радио на территории фабрики. Здесь же фабрика — помнишь, я тебе говорил?

— Да, помню.

— А Галкин — это Семка. Помнишь, мы с ним вместе к Гоге в больницу ходили?

— Помню.

— А как Гога?

— Уже дома, но еще будет лежать несколько дней.

— Лидия, я к тебе скоро зайду, ладно? Я вечером зайду и дам два звонка — один длинный, один короткий. Ты, когда выйдешь, на всякий случай спроси: «Кто здесь?» — потому что я на всякий случай спрячусь: вдруг папа выйдет открывать.

— Хорошо. Папа тобой недоволен.

— Почему?

— Ты у него четверку получил.

— Ну и что же? Четверка ведь хорошая отметка. Я доволен. Вот по другим предметам я за последнюю неделю несколько троек схватил.

— Папа хочет, чтобы ты учился на отлично.

— Я сейчас не могу. Только ты не думай, что из-за трубы.

— Я и не думаю. Но ты учись получше, ладно?

— Ладно, — говорю я.

— Я очень напугалась, — говорит Лидия, — когда сказали «Галкин».

— Это Семка, — говорю я. — Он тебе нравится?

— Да.

— И мне. С Ишкой они друзья были.

Лидия молчит. Мне нравится, что она не спрашивает, почему «были», что она напугалась, когда сказали «товарищ Галкин», а сказать об этом не боится.

— Семка — поэт, — говорю я.

— А где он живет?

— Чайковского, пять. Там, наверное, и пишет. Потихонечку от всех.

— Поэты пишут везде, — говорит Лидия, — дома, в кино, в трамвае, на работе, даже...

— Даже где? — спрашиваю я.

— Даже когда они целуются с любимой девушкой, — говорит Лидия, и мне становится за себя стыдно.

Я молчу.

— Ты Ишку видела? — спрашиваю я наконец.

— Видела.

— Только я не про тот раз говорю, когда после больницы.

— Я знаю. Нет, еще раза три.

— Ну и как?

— Не знаю. Я ведь ничего прямо ему сказать не могу, а то он спросит, откуда мне известно.

— Понимаю. Ты с ним на «ты»?

— Да.

— А он с тобой?

— Тоже. Не знаю, как с ним быть. Я хотела узнать, что ты думаешь?

— Ты поэтому зашла?





— Нет, не только поэтому.

Я больше не задаю вопроса, просто я ей верю.

— Я у него спрашиваю про институт, а он молчит. Я спрашиваю у него, откуда у него деньги, — он отшучивается. Про то, что он пьет, я не говорила, при мне ведь этого не было.

— Разве у него есть деньги?

— Мне кажется, есть. Последний раз я отказалась с ним в кафе идти, если он не скажет, откуда столько денег. Он рассмеялся и сказал, что выиграл в карты. Но в кафе я все равно не пошла. Мы с ним поссорились.

— В какое кафе он тебя звал?

— В кафе «Романтики».

— На днях он участвует в матче, — говорю я.

— Я не пойду, — говорит Лидия.

— Почему? «Бокс — это драка». Поэтому?

— Нет. Мне не очень хочется его видеть, — вернее, трудно...

— Лидия, — говорю я. — Так нельзя... Он...

— Я знаю, — говорит она. — Но я не могу. Да ты и сам не знаешь, как быть.

— Не знаю, — признаюсь я.

Мы молчим некоторое время.

— Ну, я пойду, — говорит потом она.

— Иди, Лидия, — говорю я. — А я еще немного поиграю.

Я открываю дверь, выпускаю ее и снова запираю. Она уходит бесшумно. Ничего ведь не слышно. Я дую несколько раз в трубу, потом прячу ее под корзину и сажусь на дрова.

Значит, у Ишки есть деньги. А часы все еще чужие. Неужели так пьют?

А я, я-то? Сам-то что? Ничего ведь не могу поделаться!

ЗРА, ВСЁ ЗРА...

Я стою перед закрытыми дверями кафе «Романтики». Поздно уже. Уже давно пора быть дома, но раньше никак не получалось. Еще минут двадцать назад я разговаривал с Лидией, а теперь вот стою перед дверью, и меня не пускают. Что, у швейцаров сердца, что ли, нет? Как-то не верится.

Когда я первый раз зашел к Лидии, ее не было дома. Я нажал звонок два раза — один длинный, один короткий — и спрятался. Кто-то открыл дверь, не знаю кто: может, Георгий Анисимович, а может, и Гога. Только

не Лидия. Она бы спросила: «Кто здесь?» Она так и сделала, когда я через час снова позвонил.

— Это я, Лидия, — зашептал я сверху. — Подымись сюда.

Она поднялась на площадку, где я стоял.

— Лидия, — сказал я, — помнишь, ты обещала мне десять рублей займа?

— Помню, — сказала она. — Погоди.

Она ушла и через минуту вернулась ко мне с деньгами.

— Когда тебе их отдать? — спросил я.

— Когда сможешь. Иди, только...

— Только я тебе скажу, зачем я их взял, когда ниже спущусь, а то ты у меня еще их отберешь.

— Ну хорошо, — согласилась она.

Я спустился этажом ниже и тогда сказал:

— Я еду в кафе «Романтики».

— Зачем? — почти крикнула она.

Я мог бы сказать ей и остальное, но она уже бежала вниз. Я тоже побежал.

— Алеша! — крикнула она.

Но я уже был внизу.

Я проскочил двор, выбежал на улицу и быстро дошел до угла. Свернув, я пошел медленней, сел потом в автобус и доехал до Невского. Где «Романтики», я знал. Еще когда мы с Валеркой выслеживали американца, я увидел вывеску этого кафе. Я думаю, я приехал куда надо.

Но меня не пускают. И никого вообще не пускают. Я стою первым у двери. Сзади меня еще человек шесть молодых людей и две девушки. Все меня подбадривают, смеются, но я стараюсь не обращать на это внимания. Перед самым моим носом стекло. И вывеска «Свободных мест нет». Мне не надо ни одного свободного места. Почему он меня не пускает? Швейцар. Что у него вместо сердца — ледышка, что ли? Он сидит, такой усатый, усы рыжие, далеко от двери, там, где уже раздеваются. По ковру возле раздевалки ходят красиво одетые мужчины и женщины. Иногда швейцар подходит сюда, чтобы кого-нибудь выпустить. Вторая дверь — крутящаяся. Она крутится, люди проходят через нее, швейцар открывает главную дверь — люди выходят, другие, с улицы, входят, но меня он не пускает.

— Послушайте, — каждый раз уговариваю я его. — Мне же быстро. Мне официантку тетю Марусю надо
— Мальчик, не мешай, иди. Нет у нас такой официантки. — И отодвигает меня от двери.

— Есть, — говорю я.

Но дверь уже закрыта.

Вот сейчас он выпускает какого-то пожилого мужчину, толстого, в толстом пальто, в шапке из барана.

— Ну чего тебе опять?

Я надоел швейцару, я это по глазам его вижу.

— Мне на одну минуточку. Ну...

Толстый мужчина застегивает пальто на ходу и что-то сует швейцару в руку.

— Дай ты ему на чай, — говорит он мне. — Он тебя и впустит.

— Ну, иди, проходи скорей, — быстро говорит мне швейцар. — Нет у нас такой официантки, сам увидишь.

Он легонько подталкивает меня, я прохожу крутящуюся дверь, потом поднимаюсь на несколько ступенек вверх и иду по коврику мимо раздевалки. Гардеробщик меня не видит, читает газету. «Какие зеркала», — думаю я. Я иду прямо, потом направо куда-то и останавливаюсь. Мне как-то неловко здесь, страшно, я делаю несколько шагов назад и сажусь на диван. Играет музыка, посуда звякает, все шумят, как на вокзале. Слева от меня — высокие проходы. Первый проход весь закрыт тряпкой, и, где я сижу, — темно. А чуть подальше прямо — светло. Там большой ковер на полу, стол, диван, кресло, еще маленький столик с телефоном. На диване сидит совершенно лысый человек с девушкой и курит. А второй, кудрявый, разговаривает по телефону. Рядом с ними еще двое: один — с бородой, длинный, второй — скуластый, невысокий. И еще девушка. Носатая. Злая.

Проходы ничем не занавешены, и, если в них войти, там, наверное, и будет кафе. Я слышу, как смолкает музыка, бьют в ладоши, кто-то громко смеется, потом звон разбитой тарелки; вся компания: злая девушка, вторая девушка, лысый, кудрявый, бородатый и скуластый — уходят, снова я слышу музыку. О! Кто это так здорово играет на трубе? Хотел бы я так уметь! Я закрываю глаза и слушаю трубу, а когда открываю — мимо проходит официантка.

— Послушайте, — говорю я и встаю.

Она останавливается.

— Можно у вас спросить... я на минуточку.

Она подходит к дивану, садится и закрывает глаза. Наверное, как и я, слушает музыку. Хорошая, значит, труба. Я жду, когда она наслушается и откроет глаза.

— Ну, что тебе, мальчик? — Она смотрит на меня. Грустно как-то смотрит.

— У моего брата однажды денег не хватило, и он вам оставил часы. Я деньги принес.

— У меня нет никаких часов.

— Ну, а у кого?

— Не знаю, не знаю.

— Узнайте, пожалуйста.

— Думаешь, так просто? Официантов много.

— Я вас очень прошу.

— Ну хорошо, а сколько брат должен?

— Сколько? Я не знаю — сколько.

— А сколько ты принес?

— Десять рублей...

— А если не хватит вдруг?

— Ну, я потом, завтра остальные принесу, вы только найдите, у кого часы.

Она сидит и думает.

— Вы не сердитесь, — говорю я.

— Я не сержусь. — Она улыбается мне — чуть-чуть. — Нет. Только часы тебе все равно не дадут, даже если хватит денег.

— Почему?!

— Подумай сам: во-первых, ты, может, не брата часы возьмешь, а какие-нибудь другие, получше, а, во-вторых, может, у тебя никакого брата и нет. Так, знаешь, каждый мальчик придет с улицы, отдаст десять рублей и получит часы.

— Нет, я не вру, — говорю я. — Брат у меня есть. А чужие часы мне не надо, я их и сам не возьму.

— А мы-то откуда об этом узнаем? Вот почему я и спрашивать не хочу. Все равно тебе часы не дадут...

— Нет, нет, послушайте! Вы уж спросите, пожалуйста. Не будет его часов — и не надо, а если будут...

— Так тебе же их не дадут!

— Пускай. Я деньги официантке оставляю, а когда брат придет, она пусть сама ему часы отдаст.

— Странно, — говорит она, — ну ладно, — и уходит.



Хотел бы я посмотреть, кто это так здорово играет на трубе. Он, наверно, и «Поезжайте на трамвае «А» умеет. Идти туда, где светло, мне не хочется, боязно, но я все-таки иду. Я подхожу ко второму проходу и заглядываю в зал. Наверное, кто-нибудь уже заметил меня и смотрит на меня. Я никогда не был в настоящем кафе,



и я боюсь осмотреться кругом. Мне почему-то неловко и стыдно. И очень неприятно, что кто-то смотрит на меня... А я гляжу только направо — туда, где на эстраде сидит оркестр.

На самом краю эстрады стоит трубач, маленький такой, усатый, черноволосый человек. Волосы у него куд-

рявые. Иногда он закрывает глаза. Наверное, слушает себя. Я тоже так иногда делаю, когда на трубе играю. Хотя у меня в сарае и так темно. Да и сравнивать здесь нельзя — он играет в тысячу раз лучше меня. Я хотел бы...

Кто-то сильно сжимает мне плечо. Я оборачиваюсь.
— Ишка!!!

— Ах ты, щенок! — Он не отпускает меня. — Ах ты!

Как в тумане, я вижу его лицо над собой и лицо Бена рядом с ним. Ишка совсем пьяный.

Бен отворачивается.

— Ах, щенок! Подглядывать за мной?! Следить, да?!

— Ишка, я не...

— Ид-ди вон!

Он хватает меня за пальто, пальто расстегивается, мой красный галстук торчит куда-то вбок, я хочу вырваться, я сам иду как-то боком, но Ишка тащит меня по коридору, я вижу себя в зеркале, а он тащит меня дальше, к выходу, потом вдруг останавливается, я смотрю на крутящуюся дверь — от двери к нам навстречу быстро идут Лидия и Семка.

Они останавливаются, и мы все четверо стоим молча и смотрим друг на друга.

— Та-ак... — произносит наконец Ишка и отпускает мое пальто.

Я, кажется, поправляю галстук, застегиваюсь и почему-то думаю вовсе не о том, что будет дальше, а о том, как же Лидия нашла Семку, и о том еще, что часы на Ишке не его, а он все равно здесь и, значит, его собственные часы где-то в другом кафе, а сюда я приехал зря.

— Та-ак... — снова произносит Ишка и, как-то выпячивая живот, идет к Лидии и Семке. — Значит, опять вы вместе? Опять?! А-а?! А ты уходи!! Уходи отсюда... — говорит он Лидии и потом, я вижу, берет рукой Семку за пальто, где-то у самого лица.

— Ты пьян, — говорит Лидия.

— Убери руку, — слышу я голос Семки.

Я бросаюсь вперед.

Ишкина рука мелькает в воздухе, и я вижу, как Семка валится на пол.

Лидия бьет Ишку по лицу...

— Зачем?! — кричу я.

У Ишки глаза становятся большими и растерянными. Он поворачивается и, шатаясь, но как-то очень быстро, уходит.

Все произошло так неожиданно, что швейцар только сейчас появляется рядом.

Мы втроем помогаем подняться Семке. Семка весь бледный.

— Пошли, — говорит он и проводит ладонью по щеке.

Швейцар открывает нам дверь.

Мы выходим и идем куда-то...

Мы не разговариваем.

— Вот деньги, — произношу я наконец.

Лидия молчит. Она даже не спрашивает, зачем я их взял. Я сую ей деньги в карман пальто. Она так ничего и не говорит.

ПОПАДИ ПО РУКЕ

— В синем углу ринга, — слышу я голос диктора, — боксер первого разряда Игорь Пряжников, «Буревестник».

Положив руки в перчатках на канаты, Ишка стоит, чуть согнувшись, в углу, спиной к освещенному рингу, и о чем-то говорит со своим тренером.

Когда диктор называет Ишкнну фамилию, Ишка быстро, будто бы между прочим, поворачивается к рингу, делает малюсенький шаг вперед, чуть-чуть склоняет голову — здоровается с публикой — и так же быстро отворачивается и продолжает говорить с тренером.

Я видел, как Ишка появился на ринге. Так, наверное, всегда будет — у меня прямо дух захватывает, когда Ишка в халате вдруг появляется откуда-то, ныряет под канаты, и вдруг халата уже нет, а Ишка, положив руки поверх канатов, сгибается и начинает пританцовывать, стоя ногами в деревянном ящике с канифолью. Канифоль для того, чтобы не было скользко передвигаться по рингу.

Я смотрю на Ишку. Это и он, и не он. Да, конечно же, я знаю — это он, мой брат, и в то же время это какой-то другой человек, просто боксер, в перчатках,

майке и трусиках, совсем не тот, который ударил Семку и дружит с Беном.

Я все-таки пошел на Ишкин бой. Я никому не сказал об этом: ни маме, ни Лидии, ни Валерке; я не дал ни одного билета ребятам из класса, а я ведь всегда водил с собой человек десять; я поехал один.

Я не знаю, как это объяснить — после того как Ишка ударил Семку, мне так противно сидеть здесь, противно видеть перчатки, канаты, противны сами боксеры, гонг, который мне всегда так нравился, — все противно и гадко. И все-таки я пошел. А почему — мне объяснить трудно, хотя я и чувствую почему.

Я сижу и думаю об этом и не слушаю, что говорит диктор. Он говорит, наверное, сколько лет Ишке, с какого возраста он занимается боксом, число побед и поражений и кто его тренер.

То же самое он говорит и про Ишкиного противника, но я и за этим не слежу. Никогда со мной этого не было. Даже фамилию прослушал. Я вижу только, что он в белых трусах и красной майке, одного роста с Ишкой, но, пожалуй, более худой и руки чуть подлиннее. А Ишка мне говорил, когда длинные руки...

Гонг!!! Первый раунд!

Я вижу, Ишка раньше своего противника начинает атаку. Как всегда. Не очень быстро, но и не очень медленно он двигается на худощавого парня — раз-раз-раз! — пробуя достать его левой. Ишкина рука в перчатке почти касается худого парня — почти, но не достает все-таки: худой передвигается по рингу легко и тоже, наверное, пока только изучает Ишку.

Вдруг — аплодисменты. Ишка попал! Очень здорово попал в голову, но худой так же спокоен, как и раньше.

Тах-тах-тах! — левой — правой — левой — делает короткую серию Ишка. Худой жжат в угол.

Р-р-раз!левой в корпус, правой в голову и еще раз правой в голову. Худой прижат к канатам... но вдруг легко уходит и сам атакует.

Они снова кружат друг возле друга в середине ринга.

Худой заставляет отступить Ишку к самым канатам.

Оп-па! Ишкина правая проходит худому прямо в подбородок!

Я вдруг вижу, как валится на пол Семка от такого удара.

Но худой — ничего, стоит. Я смотрю на его сильную короткую шею. Ишка говорил, что когда шея отличная...

Что такое?! Ишка — на полу. Нокдаун!! Неужели?!

Нет, легко подымается. Зацепился, наверное, ногой за ногу. Это бывает.

Гонг.

Конец первого раунда. Да-а.

— А ничего паренек против Пряжникова работает, а? — Слышу я голос позади себя.

Ишка сидит на табуреточке в углу, откинувшись назад, ноги широко расставлены, а руки в перчатках свободно лежат на канатах. Тренер машет перед Ишкой полотенцем — так лучше дышать. Вот он, Ишка, сидит, совсем такой же, как раньше. А ведь он другой стал теперь, я знаю. Я то забываю об этом, то снова вспоминаю. Я вижу своего брата то в белой рубашке, в расстегнутом пиджаке, пьяного, там, в кафе, то снова на ринге.

Второй раунд.

Я сначала даже ничего понять не могу — куда девался худой парень? Его прямо даже не видно стало среди Ишковых ударов.

Пропал — и все, и нет его.

— Да, чемпион все-таки, — говорит кто-то слева от меня.

— Сейчас он его понесет, — говорю я.

— Кто кого?

— Ну, Пряжников, конечно, — слышу я сзади.

— Ай, бросьте вы с вашим Пряжниковым, — говорит мой сосед, старичок, немного похожий на Бена. Я смотрю на него и ничего не говорю. Наверное, вообще нехорошо сидеть и хвастаться: видите, мол, Пряжников — так это мой брат, — но раньше я никак не мог удержаться и всегда говорил что-нибудь похожее. А сегодня просто даже не хочется. Как-то все по-другому.

— Ну, вот и все в порядке, — говорит старичок-Бен.

Я гляжу на ринг. Бой идет равный. Не могу сказать, чтобы я очень уж здорово разбирался в боксе, но мне даже кажется, что худой парень двигается резвее Ишки.

— Лезет, как деревянный, — говорит старичок-Бен, — а у паренька-то левая — будь здоров!

Я смотрю на старичка. Что он понимает?!

«А-а-ах!!!» — проносится по залу.

Что такое?!

Ишка лежит на полу. Лежит Ишка.

— ...два! три! четыре! — считает судья на ринге.

— Да-да, у паренька-то левая как хлыст, — зудит под боком старичок-Бен.

— ...пять! шесть!!!

Ура! Ишка на ногах!

— Бокс! — Судья дает отмашку.

Только бы бой не остановили!

Ай да Ишка! Вот как пошел вдруг. Что, съел, старый хрен?!

Гонг. Конец второму раунду. Ну, теперь он отдохнет, Ишка. Еще посмотрим! Он еще себя покажет. Неужели же он проиграет? Да нет, не может быть! И вдруг я чувствую, что Ишка проиграет. Будто мне кто-то так сказал, что не поверить нельзя. Еще целый раунд впереди, а толку никакого. Програет.

Гонг! Будто выстрелили. Я даже вздрагиваю.

— Бе-ля-ев! Бе-ля-ев! — кричат зрители. Наверное, худого парня фамилия.

— Давай, Ишка! — кричу я. Да разве ж он услышит! Какой вдруг Ишка стал маленький на ринге. Не узнать его даже. Он защищается в углу от ударов худого, а сам будто тает — все меньше и меньше становится.

— А-а-а!!! — кричат все.

Ишка сползает по канатам вниз.

— Стоп! — судья останавливает бой.

Я закрываю глаза.

— За явным преимуществом, — слышу я и снова гляжу на ринг, — бой выиграл Алексей Беляев.

Мой тезка. Да еще судья почему-то запутался и подымает Ишкину руку.

В зале свистят. Что, судья первый раз судит, что ли?

Сегодня дерется еще несколько пар, все зрители сидят, но я ухожу, с меня хватит.

— Да-а-а, Пряжников, — слышу я голос старичка-Бена. — Не подфартило, даже в финал не выскочил.

Что-то говорит диктор, зрители хлопают, но мне даже оборачиваться неохота.

На улице еще светло, но как-то уже и темнеет помаленьку. Может, подождать Ишку?

Ждать или нет?

Нет, не буду. Зачем это еще? Всегда без меня обхо-

дился. Или обожждать? Или лучше монетку кинуть? Идет. Орел — дождусь. Кидаю. Орел. Значит, теперь ждать. Выйдет скоро. Посмотрит на меня. Скажет... А-а, нет! Не буду ждать! Не буду. Ни к чему это.

И я уйду.

Я иду по улице, сам не знаю куда. Просто иду — и все. На ботинки смотрю. И даже о чем думаю — не знаю. Кажется, обо всем сразу, не только про Ишкин проигрыш. Но от всего вместе мне тоже не очень-то здорово. Просто, можно сказать, неважно. Плохо мне. Но, кажется, больше всего я думаю про Ишкин бой. Не думаю даже, а вижу. Как он сползает вниз по канатам. В зале все кричат, кричат... А может, так и надо, — может, хорошо, что он проиграл? Даже не вообще проиграл, а нарвался на удар. Будто бы это ему за Семку. За то, что Семке пришлось валяться на полу в этом кафе. И тем более так и надо, потому что Ишка, Ишка-то мог защищаться на ринге, защищаться ведь мог, а Семка в дурацком этом кафе стоял совсем открытый и даже не ждал удара.

Я иду, гляжу вниз на свои ботинки и так вот думаю, но все равно почему-то получается — я это как-то чувствую, хотя и маленечко, — что все неверно, неправильно, неверно я думаю: то, что Ишка ударил Семку, — это одно, а то, что он проиграл, — совсем другое. Абсолютно разные вещи. И мне жалко, жутко отчего-то жалко, что Ишка проиграл, и даже не отчего-то, а совсем ясно отчего: никогда я не любил, если он проигрывал. Настроение у меня становилось как после двойки, хуже даже, и домой идти не хотелось.

Ах, Ишка!

Я иду по улице, сам не знаю куда, гляжу на свои ботинки, куда-то влево, кажется, иду... «А ничего Пряжников придумали», — вдруг слышу я. Я подымаю голову.

Что такое?!

Опять этот зал, где проходят соревнования?! Ничего себе кружочек дал, даже сам не заметил!

— Вон он вышел! Видите? Видите? — говорит тот же мальчишка. — Да вон, вон! Да говорю я тебе — это Пряжников.

Я смотрю, куда он показывает. Да, это Ишка. Он

идет медленно от спортзала, вместе со своим тренером, руки за спину, в руках — чемоданчик.

— Сейчас ему тренер объясняет, — слышу я голос мальчишки, ну, этого, который на Ишку показывал, — объясняет, почему он проиграл. А чего тут объяснять, просто плохо он работает — и все. Просто плохо работает! Неужели не ясно?

— Балда! — говорю я. — Кто это плохо работает? Это кто же плохо работает? — говорю я и жду, когда он подойдет ко мне, и, тогда, может, придется стыкнуться. Я жду, но вдруг догадываюсь, что ничего этого нет, что все это я не вслух сказал, а про себя, и не жду я ничего, а уже иду, уже иду за Ишкой и его тренером.

Они идут медленно, Ишка все держит за спиной чемоданчик, а его тренер — маленький такой, совсем кудрявый, кудри торчат из-под шляпы, а на шляпе зачехлено перышко — все размахивает руками и что-то объясняет Ишке, что именно — я не слышу.

А зачем я иду за ними? Не знаю.

Вдруг Ишка оборачивается и смотрит, как мимо него проходит девушка, очень похожая на Лидию. Я замираю... Надо быть поосторожнее. А то еще увидит. Спросит, что я здесь делаю.

Стоп!

Они поворачиваются — и Ишка, и тренер — так быстро, что я ничего даже не успеваю сообразить, поворачиваются и идут обратно, прямо на меня, прямо на меня идут!

Глупо, просто потрясающе, правда? Я зачем-то влезаю в телефонную будку и замираю. Будка стеклянная, прозрачная вся, но куда-то ведь надо было мне спрятаться. Спрятался, ничего, а? Это в моей манере.

Они стоят совсем рядом — Ишка и тренер. Если Ишка скосит глаза чуть влево, он увидит меня. Но я вдруг перестаю об этом думать. Через стекло я смотрю, как шевелятся их губы.

— Ближко я с ним работать не мог, — говорит Ишка.

— Мог, — говорит тренер.

— Я понимаю, — это Ишка говорит. — У него руки длиннее и всякое такое, но я не мог.

— Мог, — говорит тренер.

— Нет, не мог, Ираклий Иосифович, — говорит Ишка. — Мне это трудно объяснить, но я не мог.

— Хватит, — говорит тренер. — Теперь отдыхать. Об этом бое забудь, потом разберемся, когда все уляжется.

— Ладно, — говорит Ишка. — Черт возьми, — говорит он вдруг, — смотрите — ласточки! — и показывает тренеру куда-то на другую сторону улицы.

Я смотрю туда же. Ничего себе ласточки! Воробьи сидят. Просто воробьи, никакие не ласточки.

— Это воробьи, — говорит Ираклий Иосифович.

— Да вы что? — говорит Ишка. — Неужели не видите? Конечно же, ласточки.

— Игорек, — говорит тренер. — Что с тобой? Это воробьи. Точно. Вот глупости. Ты не болен?

— Да, болен, — говорит Ишка. — Но это ласточки. Они уже прилетели. Весна, понимаете?

— Ну да, да, весна...

— Нет, вы не понимаете, — говорит Ишка. — Это весна, точно, но вы только соглашаетесь, а сами-то не понимаете, что уже весна, а это ласточки.

«Какие ласточки? — думаю я. — Воробьи же это. Нет, неужели ласточки?!»

Губы Ишки шевелятся. У него какое-то странное, незнакомое (да нет, нет же, очень знакомое, только я давно не видел у него такого) лицо — как бы это сказать, ну, доброе, что ли. Ужасно симпатичное. Какое-то такое, когда мы с ним играли в «попади по руке».

Неужели правда ласточки? Я вдруг ужасно разволновался. Вот ведь глупости, а?! Ну да, весна же действительно, а вдруг прилетели?

Чудесная игра — «попади по руке». Ну, это такое глупое название, я сам придумал. Просто один кладет на колени обе руки ладонками вверх, а другой ему на ладонки — свои; и тот, чьи руки снизу, должен быстро освободить их и попасть по рукам другого, по обоим или по одной — все равно.

Ох, как мы с Ишкой веселились, когда играли в «попади по руке». Ну да, а второй должен быстро убрать руки.

Дальше я ничего не могу объяснить.

Все произошло вдруг, сразу же. Подъехал автобус, тренер вскочил в него, Ишка помахал ему рукой, достал что-то из кармана и, быстро сделав шаг к моей телефонной будке, открыл дверцу будки — все в одну секунду.

— Ты? — сказал он. — Дела! Откуда?
— Я тут... я здесь... — сказал я.
— Ты был на моем выступлении? — спросил он. —
Что ты здесь, я вижу.
— Нет, — сказал я. — Нет. Не был.
— Что же ты здесь делаешь?
— Звоню. Звоню по телефону.
— Хватит врать. Что — возле нашего дома нет автоматов? Для чего ты сюда приехал?
— Здесь у меня... одно дело, — сказал я. — Да, одно дело. Именно.
— Ладно, — сказал он. — Вылезай, мне надо позвонить.
Я вышел из будки.
Он вошел в нее.
— Привет, — сказал он.
Дверца за ним закрылась.

СОСУЛЬКИ И ЛОШАДИ

Честно говоря, я об этом докладе и думать забыл — когда еще разговор о нем был, зимой, наверное, а то и раньше!

Некоторые ребята хотели с этого доклада удрать, но прямо перед самым звонком с последнего урока в класс вошла наша воспитательница Зинушка — она у нас по географии, — и, когда звонок прозвенел и литература кончилась, она встала около двери и так стояла минут десять, чтобы все успокоились, не шумели и чтобы никто не убежал.

Я подошел к ней и сказал:

— Можно мне в буфет сходить? За булочкой или за бутербродом с колбасой — я есть хочу.

— Это правда? — спросила она. — Ты мне правду говоришь? Ты не убежишь?

— Я не могу убежать, — сказал я. — Я докладчик.

— Ах, да, верно, — сказала она. — Ну, иди.

В буфете я встретил Георгия Анисимовича.

— Ты на минуточку? — спросил он. — Перекусить? На свой доклад торопишься?

— Откуда вы знаете? — Я удивился.

— Ну как же. Мы в учительской тоже новостями делимся. Разговоры всякие, то да се.

— Зинушка сказала?

— Как?

— Извините...

Во ляпнул!

— Можно мне прийти на твой доклад? — спросил вдруг Георгий Анисимович.

— Вы... вам? — сказал я. Я ужасно почему-то смутился и покраснел.

— Ну да. Ведь твой доклад о будущем, о нашем будущем, и, если ты начнешь не со слишком далекого будущего, это непосредственно касается и меня — старика.

— Приходите, конечно, приходите, — быстро сказал я. Не знаю почему, мне вдруг стало очень его жалко.

— Пошли вместе, — сказал Георгий Анисимович.

До класса мы дошли молча, доедая свои булочки, и, когда вошли в класс (ребята и девочки встали, приветствуя Георгия Анисимовича, и снова сели), я увидел, что все сидят тихо на своих местах, никто не убежал, а на последней парте я увидел высокого седого человека в вельветовой куртке. Я сначала ужасно разволновался, но потом понял, что это довольно-таки глупо — волноваться, потому что ведь я заранее знал, что на моем докладе будет кто-то из роно. Георгий Анисимович помахал рукой этому седому человеку в вельветовой куртке (видно, они давно были знакомы), тот — ему, и они уселись рядышком на последней парте.

Зинушка постучала по столу указкой, хотя никакого шума не было, и сказала мне:

— Начинай.

Я покашлял и начал. Начал я довольно-таки важно, примерно так:

— Мне поручили, так сказать, сделать доклад на тему «Как я себе представляю наше завтра». Мой доклад будет небольшой, потому что...

— Законно, — сказал басом Федька Бабенко.

Девчонки на него зацыкали, а Зинушка — она вдруг вся стала красная — сказала:

— Законно! Что законно, Бабенко?

— Что короткий доклад, — сказал Федька.

— Это почему же?
— Домой скоро пойдем.
Все захохотали.

— Иди домой, Бабенко! Иди! — сказала Зинушка. — Иди, если тебе не интересен доклад твоего друга.

Но Федька, само собой, не шел, он стоял за партой и мялся.

— Иди-иди, — говорила Зинушка.

— Бабенко, Бабенко!! — закричали Венька Рогалев и Саня Фукс. — Иди, иди. Чего же ты стоишь? Иди!

Венька еле сдерживался от смеха, это даже видно было, и Саня, я думаю, тоже, но лицо у Сани было совершенно серьезное. Камень, а не человек. Металл.

— Иди-иди, Бабенко! — кричали они.

— Почему же ты не уходишь? — говорила Зинушка. — Тебе же неинтересно.

— Мне интересно, — сказал Федька басом. — Это мне тогда было неинтересно, а сейчас даже очень.

Все захохотали, а я еще раз поглядел на этого высокого, седого (пока спорили с Федькой, я на него изредка поглядывал), и он опять улыбнулся.

— Садись, Бабенко, — сказала Зинушка. — Пряжников, продолжай доклад.

— Я к докладу, конечно, готовился, — сказал я. Во загнул! — Но я никаких книжек не читал, просто я расскажу, как я себе представляю будущее, ну, завтра, наше завтра...

— Жаль, Алеша, что ты ничего не прочел, — ласково сказала Зинушка. — Важно знать, что думают о нашем завтра другие люди, наши конструкторы, наши писатели, наши рабочие, спортсмены и студенты.

— И инженеры, — сказал Саня Фукс.

— Да, и инженеры, — сказала Зинушка. — Разумеется.

— Можно спросить? — сказал Венька Рогалев.

— Что же? — сказала Зинушка.

— А при чем здесь инженеры? — сказал Венька.

— То есть как это «при чем»?

— Можно спросить? — сказал Лялик Яновский.

— Что, Яновский?

Лялик сказал:

— Доклад называется «Как я себе представляю наше завтра». «Как я...» То есть как именно он, Леха

Пражников, себе все это представляет, а не инженеры, спортсмены...

— Действительно? Разве? — сказала Зинушка. — Ну тогда другое дело.

Она посмотрела на меня, и мне стало ужасно неловко, что так получилось, потому что она мне очень нравится, она очень славная, хотя и бывает сердитая. Наверное, это я был виноват: нечетко, балда, произнес тему доклада.

— Продолжай, Алеша, — сказала она.

Я сказал:

— Я продолжаю доклад о нашем завтра. Что же такое «наше завтра» — прежде всего? Это там не через тыщу лет или пятьдесят, а лет уже через пять-семь будет это наше завтра. Довольно скоро. И все мы, кто здесь есть, будем в нем жить. Даже, между прочим, если и через десять-пятнадцать. Кругом будут огромные белые дома и широкие улицы, зеленые. То есть не улицы зеленые, а деревья, конечно. Деревьев будет невероятное количество. В каждом доме будет свой каток. О коньках и клюшках я не говорю. И все это я в общем сказал, насчет города в целом. А теперь — как я понимаю всякие усовершенствования. Трамваев не будет. Зачем они? Совсем они будут ни к чему, хотя они мне и нравятся. И автобусов не будет. И троллейбусов. Только метро — из того, что сейчас есть. А будут движущиеся тротуары. Предположим, будет пять лент: первая движется медленно, вторая быстрее, третья еще быстрее, а последняя совсем быстро, как... как...

— Как автобус, — сказал Саня Фукс.

— Во-во. Если хочешь ехать быстро, постепенно переходишь с полосы на полосу, это вы сами понимаете почему. Легковых машин будет навалом. Не у всех, конечно, и если у кого не будет, а надо за город ехать — пожалуйста вам вертолет.

Я, кажется, довольно долго выступал, хотя собирался побыстрее. Это я знаю, почему вышло. Про себя, я, конечно, очень здорово все представлял, как это будет, лет через десять, но на словах получалась потрясающая скучища — или я просто к докладу не был готов, не то чтобы не готовился, книжек там не читал, а просто другим был занят. Меня вроде бы все внимательно слушали, но я-то, честно, точно знал, что я неве-

роятную скучищу нес. Я и так старался, и этак — ничего не выходило, только длинно получалось, а больше ничего. Перед Георгием Анисимовичем и его знакомым мне было прямо-таки неудобно.

Кое-как я закруглился и сказал:

— Все. Доклад окончен.

Вот смех — все захлопали, а Зинушка сказала:

— Спасибо, Алеша.

И пожала мне руку.

— Да что вы, не за что, Зинаида Константиновна. Ерунда какая. Доклад так доклад.

— Какие вопросы будут к докладчику? — вдруг сказала она.

Вот это да! Вопросы, значит? Они, значит, сейчас всем классом будут спрашивать у меня, что им придет в голову, может, всякую ерунду, а я, значит, стой и все им точненько отвечай? Ничего!

Так и было. Невероятные какие-то были вопросы. Я их, конечно, не помню, но помню точно, что многие все говорили, что я рассказывал про то, что будет, а про то, чего не будет, почти не говорил. Я ужасно обозлился и сказал:

— Что значит — чего не будет? Просто что-то новое будет, а того, вместо чего оно будет, того-то самого и не будет.

— Что-то неясно ты выразился, — сказал Саня Фукс. — Ну-ка еще раз!

— Чего «еще раз»? Чего «еще раз»?! Просто, например, если будет движущийся тротуар, то трамваев, ясное дело, не будет.

— Ерунда, я не про это, — сказал Саня. — Я про совсем другое. Про технику ты говорил, про космонавтику тоже, а вот я хочу спросить: цапаться будут?

— Что-о? То есть?

— Я его понимаю, — сказал Венька. — Он хочет сказать: при новой жизни люди будут цапаться, ну, ссориться, что ли?

Все ужасно развеселились, но я неожиданно подумал вдруг об Ишке, о себе, о Семке и о Лидии — и будто исчез куда-то из класса, как улетел. Сразу же мне стало плохо. Не знаю, сколько я так летал.

— Он молчит, — услышал я потом как бы издали чей-то голос. — Так будут люди цапаться или нет?

И только тогда я очнулся.

— Нет, они не будут ссориться, — сказал я. — Или очень редко, или, если не очень редко, то все же реже, чем сейчас, и сразу же будут мириться.

Лялик Яновский сказал:

— А сосульки будут? Я думаю, не будет сосуллек.

— То есть каких это сосуллек?

— Обыкновенных. С крыш которые. Крыши будут какой-нибудь новой конструкции, а если старой, то все равно все дома такие высокие будут, что мы эти сосульки и не увидим.

— Почему ты так думаешь? — спросила Зинушка.

Но Лялик уже замолчал. Он все сказал. Он такой, я говорил уже.

— Если честно, — сказал я, — то я не знаю, будут сосульки или нет.

— А я хочу, чтобы были сосульки! — крикнула наша маленькая Лялочка Пушкина. — Без них неинтересно.

— Что тебе сосульки?

— А вот и то!

— А мне сосульки тоже здорово нравятся, вечером особенно...

— А вот контролеров точно не будет, ведь трамваев-то и автобусов не будет!

Все вдруг стали кричать, чего не будет.

— Керосинок на даче не будет!

— Бутылок! Молоко, чай там, кофе — все будет по трубам идти, как вода.

— Ага! А галоши будут бесплатно. То есть не будет платных галош. Я их теряю часто, а мама ругается.

— Не будет подлецов и приставал!

— Баков для мусора во дворе не будет. Мусоропровод сделают, — это сказал басом Федька Бабенко. — Неохота каждый день ведра таскать.

— Больных не будет!

— Ур-ра! Все будут спортсменами!

— Не будет неинтересных фильмов!

— Не будет...

— Не будет...

— Не будет...

Вдруг все устали. Как-то сразу. Стало тихо. И поэтому неожиданно громко наша очкастая Ирка Дубчик пропищала в тишине:

— Лошадей не будет.

Я немного задохнулся даже и сказал громко:

— Лошади будут.

Я не просто сказал, что они, лошади, будут, а как-то так это сказал, особенно как-то, потому что вмиг вспомнил ту лошадь на канале Грибоедова.

Все снова стали орать и спорить насчет лошадей, но я не слушал никого, а просто стоял и думал о той лошади, которая ела листья с дерева, а потом приехали и встали возле нее две новенькие грузовые «татры», и она бросила есть свои листья и опустила глаза к земле; под конец я нечаянно прислушался, и мне показалось, что большинство кричит, что лошади все-таки будут.

Вдруг я увидел, что седой этот человек в вельветовой куртке идет по проходу к учительскому столу, подняв обе руки, и делает ими так, чтобы все успокоились и сидели тихо.

Все стихли.

Он пожал мне руку и показал на место на последней парте, рядом с Георгием Анисимовичем.

Когда я сел, он сказал:

— Мне все очень понравилось. Это, конечно, был не доклад, но в этом нет ничего страшного — главное, что всем нам здесь было интересно. Если вы хотите, я тоже расскажу вам о нашем будущем, но не о таком, какое я себе нафантазировал, а о будущем с точки зрения некоторых наук. Хотите?

Все закричали, что хотят.

— Во-первых, — сказал он, — лошади, я думаю, обязательно будут. Во-вторых, сосульки будут тоже, в-третьих. . .

И он начал рассказывать. Он рассказывал недолго, все про точку зрения науки, но до того понятно и здорово, что я просто обалдел, честно.

Потом ему задавали вопросы.

Я смотрел, смотрел на него и после вдруг встал и сказал:

— Скажите. . . скажите, а ласточки — они прилетели, а?

Он улыбнулся и сказал:

— Мне кажется, нет.

— Прилетели, — сказал я твердо.

А он развел руками.

После ему еще задавали вопросы, а потом все стали расходиться по домам.

В коридоре меня подозвал Георгий Анисимович. Он зачем-то потерял меня за куртку и сказал:

— Я тобой не совсем доволен.

— Что такое? — спросил я. — Плохой доклад?

— Нет, доклад отличный. Но ты не всегда себя хорошо ведешь.

— Извините, — сказал я. — Я постараюсь лучше. Только я не знаю, о чем вы.

— Этот пожилой человек считает, что ласточки не прилетели, — может быть, даже он уверен, что они не прилетели, но он сказал «мне кажется», а не просто «нет, не прилетели». Он никому не навязывает собственного мнения. Тебе понятно это выражение? А вот ты сказал ему: «Прилетели». Понимаешь теперь?

— Да, — сказал я. — Только если честно, — малечко понятно, не до конца. Я же не хотел сказать ничего плохого.

— Это я знаю.

Я посмотрел на Георгия Анисимовича.

Он улыбался.

— Это я знаю, — повторил он. — А то бы я не стал с тобой разговаривать. Ты и на самом деле не совершил ничего плохого, а все-таки... Ты пойми это «все-таки». Это тебе пригодится. Ну, беги домой.

Вечером Ишка пришел пьяный. Знал он или нет, что мама сегодня придет очень поздно с работы? Неужели не знал и все равно такой явился?

Он окликнул меня, но я не ответил. Я слышал, как он ходил по комнате, чиркал спички, смеялся и бормотал...

— Прекрасно, — слышал я. — Все прекрасно. Все изумительно. Этому я теперь не нравлюсь. Тому тоже. И этому. И вот этому. Восхитительно. Печально? Нет. Н-нет! О, истина в вине! Именно. Выпьешь — и будто убежал от всех, и все так прекрасно, так прекрасно...

Я лежал, накрывшись с головой одеялом. Сердце у меня колотилось. Я чувствовал — вот, вот еще немного, и я вскочу и что-нибудь сделаю с Ишкой, ударю его, или обниму, или ударю...

Вдруг он погасил у меня свет, вошел в свою комнату, резко закрыв дверь, тут же я услышал, как он бросил брюки на стул — громко брякнула пряжка от ремня, — после с шумом прыгнул в кровать, и сразу в наших комнатах стало тихо.

ВХОДИ, ВХОДИ, ГОГА

Я и Гога идем вдоль Невы. Просто так идем, не куда-нибудь, а от нечего делать. Вот и каникулы пролетели, и еще несколько дней. Я все каникулы на трубе играл. Ничего мне больше и не хочется. Да и в школе все как-то не так. Я теперь ни с кем не дружу. Обо всех позабыл. Не до них.

«Ты чего такой мрачный? — спрашивают все. — Из-за Валерки, что ли?»

Валерка со мной теперь не сидит. На другую парту ушел. Из-за того, что я на уроке нечаянно его большую коробку со значками на пол вывернул. Шум такой был. Двести значков — бряк на пол! Валерке влетело. На перемене он на меня орать стал. Виноват был я, раньше бы я даже, ну, извинился, что ли, а в этот раз я Валерку дураком обозвал и отвернулся. Он и ушел на другую парту.

А с Гогой почему-то не так, как с другими. Не знаю почему. С ней даже весело как-то. Она идет рядом со мной, в красной спортивной шапочке, в спортивных брюках, вся какая-то спортивная. Только пальто у нее еще не весеннее, а с меховым воротником, — все-таки только ведь отболела. Я гляжу, как она крутит носом и что-то насвистывает, и почему-то никак не могу вспомнить, как она выглядела, когда я ее в первый раз увидел. А вот какая она в больнице была, я помню. Такая, как сейчас. Только сейчас она еще лучше, потому что румяная и без пижамы.

— Знаешь, кому это памятник? — спрашивает Гога. Так бы и дал ей за этот вопрос.

— Кому? — говорю я. — Просто не могу себе этого представить.

— Петру Первому, — говорит Гога. Так спокойно говорит. Не понимает что ли? Ы-ы... так бы и дал.

— А кто его построил? Кто его, так сказать, автор?
— Да, кто же это его построил? — говорю я. — Ну просто никому это неизвестно, никому!

— Тебе-то уж во всяком случае, — говорит Гога. — Невежда.

Я молчу. Чего мне говорить? Вот если бы я знал, кто, так сказать, автор этого памятника, я бы мог или говорить, или молчать — по своему усмотрению, а если не знаешь — и говорить нечего. Но все равно она зря задается, можно ведь и не знать всех авторов.

— Ага, молчишь? Значит, я права... Не злись. Я тебе об этом потом расскажу. А как у Петра лошадь звали, знаешь? Нет? Ее звали Кровавая Мэри.

— Кого, лошадь?!

— Да, лошадь.

— Ври больше.

— Ее так звали за то, что она одним копытом могла сразу убить девятнадцать врагов.

— Почему девятнадцать?

— Любимое число Петра.

— Все ты врешь, Гога.

— Как ты угадал? — Гога прямо заливается. — Такой догадливый. Нет, правда, ноги у нее были, как кувалды, вон — змею раздавила, очень сильные ноги, как у твоего брата руки.

— А ты-то откуда знаешь?

— Ну, все-таки чемпион.

— Это кто тебе сказал?

— Лидия.

— Когда?!

— Еще когда я в больнице лежала.

— А после она еще что-нибудь говорила?

— Нет, а что?

— Так, ничего. Передай ей, что он проиграл бой и в финал не вышел.

— Ты не расстраивайся, — говорит Гога, — он выйдет.

— Уже не вышел, — злюсь я. Вот человек!

Знает ли она еще, что такое «финал»? Да, именно. А если знает, так неужели думает, что эти финалы каждую неделю бывают? Иногда послушаешь девчонок, так просто тошно делается.

— Ну, в другой раз выйдет. Мы пришли.

— Куда это? — я удивлен.

— Как «куда»? В Эрмитаж.

— А разве мы сюда шли?

— Сюда.

— А чего же ты сразу не сказала?

— Я боялась, что ты не пойдешь. Тебе ведь это не интересно. А здесь висят великие произведения искусства.

— Нет, почему же, очень интересно, — пытаюсь убедить я Гогу, но она не слушает и уже тянет меня куда-то, какой-то кошелечек достает, покупает билеты, потом мы раздеваемся. Гога меня все за руку держит, так мы и входим в музей.

Хорошо все-таки, что я Гогу раньше встретил, чем сам собрался к ней зайти. Все никак не решиться было. А вышло так, что я ее нечаянно встретил, и очень рад, а то совсем мне плохо последние дни, совсем плохо. С Гогой легче. И хорошо, что в музей пошли. Я здесь всего два раза в жизни был: один раз с мамой, а другой раз вместе с классом. Какая-то толстая тетенька нас тогда водила. Хорошая такая тетенька, добрая, только я ничего не понял, что она говорила, какие-то слова странные: «тенденция», «образ».

А Гога все так просто объясняет, понятно. Сначала она меня повела в длинный коридор, где все про Петра. Всякие родственники, пушки, сабли, портреты. Оказывается, Петр — любимый Гогин герой. Она все про него знает, кучу книг прочитала.

— Знаешь, — говорю я, — я хотел тебе сказать, что...

— Что? — спрашивает Гога.

— Что... я бы хотел посмотреть картины... великие произведения искусства.

— А-а, да, да, — говорит она, — пойдем, пойдем, я покажу.

Она долго ведет меня куда-то, то влево, то вправо, то вниз, то вверх — и ни разу ведь не собьется. Как у себя дома. А потом показывает мне картины. Все какое-то незнакомое и не очень понятное, но все равно с Гогой хорошо ходить.

— Ой, смотри, — вдруг говорит она. — Смотри какой!

Я оборачиваюсь и вижу бородатого дяденьку, не

очень старого, в черном халате. В руках у него ведро с водой и еще несколько ведер на тележке. На батареях парового отопления стоят какие-то корытца, и в них он льет воду.

Гога тянет меня за рукав, и мы подходим ближе. Гога-то, наверно, знает, зачем вся эта затея с ведрами, только ей, видно, на дяденьку охота посмотреть. И мне тоже, я и у Гоги мог бы спросить, зачем ведро, но спрашиваю у дядьки:

— Это еще зачем?

Он оборачивается, смотрит на нас и вдруг подмигивает:

— Я их поливаю.

— Кого «их»?

— Картины.

— Ну, это вранье, — говорит Гога. Она, я думаю, все знает, что к чему, и просто его заводит, да и ответил он как-то странно.

— Нет, я не вру, — говорит бородатый. — Некоторым существам нужна вода: лошадям, цветам, картинам. Значит, им нужно дать воды, а как это называется — неважно.

— По-вашему, — говорю я, — если лошади нужна вода, ее поливают?

— Иногда и поливают, — говорит он. — Только по-другому, чем цветы. Или ее поят.

— Но ведь картины-то нельзя поить.

— Можно и даже нужно, — говорит он, — а то они потрескаются без влаги, а людям не на что будет смотреть. Я наливаю воду в бачок. Вода в бачке нагревается от батареи и испаряется. И картины, как цветы из почвы, поглощают из воздуха воду и живут.

— Физика, — говорит Гога, — мы еще не проходили.

— Да, да, физика, — смеется бородатый. — Всех надо поливать и поить, не обязательно водой, конечно. Чтобы они не засохли и были живы, здоровы и счастливы. Папы, мамы, братья, сестры и так далее..

— Вы здесь, наверное, самый главный начальник? — говорит бородатому Гога.

— Ну, не самый главный, — смеется бородатый, — но все-таки.

— Еще бы, — говорит Гога, — ведь самый главный в саду — садовник. Дайте мы вам поможем, а?



Я вижу, как лицо у бородатого становится серьезным.

— Нет, ребяташки, — говорит он, — спасибо, не надо. Еще прольем с вами на пол. Самое главное начзльство будет ругаться.

— Вас бы с Семкой познакомить, — говорю я ему.



Мне вдруг почему-то стало его жалко. — Он рационализатор. Он бы вам такие трубы сделал, чтобы вода сама бежала понемногу и все время бы испарялась... Тогда и на пол нельзя было бы пролить.

— Вот это было бы здорово! — говорит бородатый. — И ведра тогда не надо было бы возить и всем показывать. А то люди приходят сюда смотреть картины и разные красивые вещи — и вдруг ведра. Люди ведь ото всюду к нам приезжают. Приезжает экскурсия колхозников, а им — ведра. Это то же самое, если бы человек работал на птицеферме, пришел бы сюда, а здесь по залам десятками куры гуляют. Они ему и так уже надоели... О! Идет самое главное начальство, привет, ребяташки!

— До свиданья! — тихонечко кричит ему Гога, а он уже укатывает свою тележку в другой зал.

— Гога, — говорю я, когда мы выходим из музея, — знаешь что? Знаешь, я хотел бы рассказать тебе про... в общем, поехали.

И мы едем ко мне во двор. Гога-то этого не знает, но она молчит, понимает, что пока я ей ничего не скажу.

От автобуса до дома я иду опять очень быстро. Гога не отстает. Мы входим во двор. Никого нет. Ни в первом дворе, ни во втором, ни в третьем.

Очень хорошо.

Я достаю из кармана ключ, открываю сарай и захожу внутрь.

— Входи, входи, Гога, — приглашаю я.

— Ну и шум здесь, — громко говорит Гога, — ну и темень!

— Входи, входи, — говорю я. — Не стесняйся. Дверь надо закрыть. Это тайна. Чувствуй себя как дома.

Гога закрывает дверь и садится на дрова. Я становлюсь на колени и засовываю руку под корзинку.

Трубы нет.

ВОТ ТЕБЕ И РАЗ — СЛЕЗЫ...

Я бегу, бегу, бегу...

Я бегу сломя голову к Валерке и приговариваю про себя: «Валерка, эх, Валерка, как же так, Валерка, что

же такое случилось?» Я бегу и плачу. Бегу прямо по лужам, дождь идет, вечер поздний, холодно отчего-то, а я — прямо по лужам и плачу. И чего плакать? Ведь он жив, жив! Но я не от радости плачу, от чего-то другого. У мамы лицо было такое бледное, я ее долго вечером ждал, она на работе задержалась, входит, лицо бледное...

— Алеша, — говорит. — Беги-ка к Валерке. Я его маму видела сейчас.

— С ним что?! — закричал я и вскочил.

— Тихо, тихо, — сказала мама. — Уже ничего. Жив. Только температура высокая. Он какого-то первоклассника спасал. Тот упал в Фонтанку, а Валерка за ним бросился. Он ему утонуть не дал, а сам выплыть никак не мог, их двоих спасли.

Я выскочил на лестницу и там заплакал. От всего. От всего вместе.

И у Валеркиной мамы лицо такое бледное и тихое.

— Как он? — спрашиваю я, а вода так и льет с меня на пол прихожей. — Лежит?

— Лежит, лежит, — тихо говорит Валеркина мама. — Ты зайди к нему, только совсем ненадолго. Жар у него. Какой ты мокрый. На-ка полотенце.

Я снимаю пальто и вытираю голову, лицо, глаза.

— А что врач говорит? — спрашиваю я.

— Говорит, надо надеяться, все будет хорошо. Все-таки он очень простыл. Может быть воспаление легких, а он у меня такой слабенький.

— Ничего, ничего, вы только не бойтесь и не плачьте.

Я вхожу в комнату. Совсем почти темно. Валеркина мама накрыла настольную лампу каким-то ковриком. Лампа стоит на стуле возле Валеркиной кровати. Блестят всякие бутылочки, трубочки, пакетики в целлофане, градусник.

— Это я, Валера... — произношу я как-то и тихо и одновременно громко. Глаза у него закрыты, а от лица, когда я немного наклоняюсь, так и пышет жаром.

— А-а, — Валерка слегка открывает глаза и смотрит на меня. — Ага.

— Ты лежи, ты лежи, — говорю я, сам не зная почему.

— У меня жар сильный, — тихо говорит Валерка, — и в ушах звенит.

— Ерунда, позвенит и перестанет.

— Звенит и звенит, и все какие-то круги, когда глаза закрываешь, а с открытыми лежать...

— Лежи и молчи, — перебиваю я его, — и не разговаривай. Поправляться надо.

— Хорошо, — соглашается Валерка, и мы молчим минут пять.

— Если бы не я... — снова вдруг начинает Валерка.

— Молчи и лежи и не хвастайся, — и так герой.

— Если бы не я...

— Я тебе что сказал?!

— Если бы не я... — Валерка будто не слышит меня. — Если бы не я его спасал, этого первоклассника, а кто другой, он бы меньше воды наглотался, я ведь только по-собачьи плаваю, плохо...

— Все равно, — говорю я, — это ты его спас. Только говорить много не надо. Вредно тебе.

И мы снова молчим.

— Ты в «Спортовары» не собираешься? — снова начинает Валерка.

— Нет, вроде бы нет.

— А-а. А то вот будет мне полегче, я хотел новые кольца на спиннинг поставить. Там бывают хорошие кольца.

— Не знаю вообще, — говорю я. — Хотя поеду, поеду. Мне все равно нужно эту... ну, как ее, ну, леску толстую.

— Тебе зачем?

— Так, для одного дела.

— Мои кольца не настоящие, а я хочу настоящие.

— Хорошо, — говорю я. — Ты спи, Валерка, я пойду. Поправляйся скорей.

— Привет, — голос у Валерки слабый. — Ты, если поедешь, посмотри там значки у прохожих, мало ли кто с каким значком идет, могут попасться редкие.

— Хорошо, — говорю я. — Спи.

— Он поправится. Точно, — говорю я Валеркиной маме на кухне.

— Да, да, — говорит она тихо. — Конечно. Я ему сейчас малины дам, чтобы он согрелся как следует. Пальто твое высохло, Алеша.

— Спасибо, — говорю я и прощаюсь. — Дайте ему малины побольше, пусть поправляется.

«Поправится, поправится, — думаю я, спускаясь по лестнице, — ничего другого и быть не может». И тогда снова вспоминаю про трубу. Пять дней я все думал и все зря. Разве придумаешь. Лидия никому не сказала — я уверен. Мама... стыдно даже вообще рассуждать. Американку я, считай, выиграл, только еще не мешало бы позаниматься, а то все забудешь до этого школьного вечера. И потом — на какой трубе выступать? Если на раз у кого-нибудь одолжить, так ведь на незнакомой попробуй сыграй. Но самое главное — труба не моя. Я ее вернуть обязан. Нож у Валерки я отбирать не буду. Мусор выносить — я оставляю, мороженое — тоже, а нож пусть у него. Что-нибудь другое, третье придумаю. Только бы узнать, где труба. Если у мамы спросить, то ведь только про Ишку, он ее взял или не он. А даже если это и он взял, так она этого не знает, и не надо ей знать, зачем ей мучиться, я ей все равно не позволю у него спрашивать. Да, может, и не он это. Тогда кто?

Не знаю я. И чего я зря голову ломаю? Все равно у Ишки мне спрашивать нельзя. Этого еще не хватало.

Я иду от Валерки домой медленно, а дождь все льет и льет. Совсем я промок.

Я СКОРО ПРИЕДУ

«Здорово, Лешик! Мне здесь даже как-то трудно представить, что ты ходишь в кепке и без варежек. Ты писал мне, что на весеннем вечере старшеклассников будешь выступать и каким-то хитрым способом выиграешь американку у Валерика Бурцева. Очень возможно, что когда ты, отягощенный лаврами победы, вернешься домой, то увидишь меня. Очень возможно. Я не просил тебя точно написать, какие у тебя за последнее время отметки, но надеюсь, что все хорошо.

Твой рисунок с ракетой мне понравился. Очень. Но с лошадей, там, где около нее две «татры», — ничуть не хуже. А стихи этой малышки — просто прекрасные. «Который час? — спросил Василий». Очень здорово.

А ты еще не передумал приехать со мной летом в

наш новый городок? Здесь так — как нигде. Впрочем, может, это потому, что я сам его строил. Ну, сам увидишь!

Я прощаюсь с тобой. Скоро увидимся.

Да! Наконец-то я получил письмо от Ишки. Он пишет, что недавно выиграл бой и вышел в финал. И еще он пишет, что ласточки прилетели. Я доволен его письмом.

Ну, до встречи.

«Который час? — спросил Василий».

Прекрасно!

Твой папа».

Значит, так. Значит, он написал папе, что вышел в финал. Значит, вот что он делает, Ишка. Врет. «Врет, врет, врет», — думаю я, держа в руке раскрытое папино письмо, но еще больше я думаю: «Ласточки, ласточки, ласточки прилетели». Он уверен, что прилетели, потому что уже весна, и я уверен, уверен, уверен. У него, у Ишки, было такое лицо, когда он смотрел на них. Если бы рядом не было тренера и я подошел к нему в тот момент, ничего бы подобного, как в телефонной будке, не было, он бы совсем по-другому стал со мной говорить, — я уверен. Я бы поставил обе руки вот так, ладошками вверх, и сказал бы:

— Сыграем в «попади по руке».

И он бы положил свои руки на мои и сказал:

— Валяй.

Совсем прежний Ишка!

«Врет, — думаю я. — Папе наврал».

Но еще больше я думаю: «Это совершенно точно, что ласточки прилетели, совершенно точно».

КОФТОЧКИ, ВАЛЕНКИ, ТРУСИКИ ... СТОП!

До чего я люблю наш рынок!

Не то чтобы люблю и хожу туда каждый день, а просто, когда бываю, ну, за картошкой маме иду или за молоком, за медом там, — всегда ужасно радуюсь. Одно удовольствие смотреть на картошку, морковку, яблоки, брюкву, семена разные, корешки, огурцы, молоко, мясо,

сметану, орехи лесные, рыбу, мочалки, метлы, всякие игрушки, корзины — ой, всего и не перечислишь. Всегда мне на рынке потрясаяще приятно.

В этот раз я на рынок просто так зашел, без особого дела, просто рядом был, покупал в «Спортоварах» Валерке кольца для спиннинга.

И опять — сплошное удовольствие.

Весна, что ли, — наверное, поэтому. Особенно поэтому. Толстые усатые загорелые дядьки продают лавровый лист, зеленые какие-то веточки, укроп, редиску, огурцы. Они не здешние, эти дядьки, они откуда-то с юга, я знаю, мне мама говорила, у нас еще нет огурцов и редиски, не выросли, рано, но все равно смотреть на всю эту зелень — одно наслаждение, прямо дух захватывает, когда подумаешь, что где-то совсем рядом — два дня езды на поезде — теплое море плещется, солнце печет и буйно растет редиска и огурцы.

Ах, прекрасный у нас рынок! Рынки я вообще люблю, я говорил, но наш — особенный. Наш новый, огромный, весь белый, светлый и очень похожий на санаторий возле моря. И чего здесь только нет! Павильон для молока, павильон для мяса, павильон для картошки — павильоны, павильоны, павильоны, а еще гостиница, комната колхозника, книжный магазин, комната матери и ребенка, тир, столовая, кафе, комиссионный магазин, выставка цветов и вьющихся растений, баня... ну просто все есть. А комиссионный магазин огромный, как спортзал в нашей школе, и совсем как музей, правда, столько здесь разного всего. Здесь и отдел обуви, и одежды, и посуды, у самоваров — свой отдел, а еще — фотоаппараты, киноаппараты, часы, мотоциклы и велосипеды, музыкальные инструменты — все есть.

Я иду по комиссионному магазину, как по музею. Народу полно. Вдруг я куплю в спортотделе Валерке какой-нибудь спиннинг старинный, за рубль, с золотой ручкой?

— Кому самоварчик? Кому самоварчик? На приемке народу-то сколько, а я на поезд тороплюсь.

— Ваня, а Вань, купи ты рейтузы, будешь на охоту ходить.

— Взяла бы я у тебя самоварчик, да денег нет, вот картину приобрела. Ну что за самоварчик!

Ого, какая картина! Лев в клетке терзает красивую

голубую тетеньку, лужа крови на полу, а усатый черно-волосый человек с бледным лицом целится из-за решетки в льва из пистолета. Я смотрю, — что раньше: он выстрелит, или лев откусит тетеньке голову. А меня уже толкают дальше, дальше, куда-то вправо. Маленькая бабка в клетчатом платке и с желтым носом продает высокому здоровому парню в резиновых сапогах лакированные туфли и тоже говорит, что на поезд торопится.

— Да ты их померь, померь, голубь, и узнаешь, почему двадцать прошу, — тараторит желтоногая бабка.

— А ты их откуда взяла-то? — спрашивает парень. — Нет, больше пятнадцати не дам, неизвестно еще, откуда они у тебя.

— Да ты померь бареточки-то, сам двадцать захочешь дать, померь.

— Пятнадцать дам, а больше — нет, — говорит парень, снимая свой здоровенный резиновый сапог. — Может, они у тебя того, неизвестно откуда взяты.

Меня зажали возле них, и ни с места. Парень вынул ногу из сапога, снял портянку и прямо босой лезет в туфлю. Сапог его огромный, мне до пояса, стоит рядом.

— Это почем же такие сапожки резиновые? — спрашивает кругленький седой дедушка. Откуда вдруг взялся? — Почем, а? Восемь рублей дам, больше не дам.

— Да они не продаются, — говорит высокий. — Я их сам только что купил.

— Ну, а все-таки?

— Мерь, мерь, голубь, они на тебе, как на короле, — тараторит желтоногая бабка.

— Там у тебя гвозди, — говорит высокий, ставя ногу на пол. — Тринадцать дам, а больше нет. Где ты их взяла?

— Болтать-то, болтать-то, — злится бабка. — Сымай с ноги! Мне б на приемке и тридцать дали, да у меня поезд мгновенно уходит.

— Ну, пятнадцать, весь разговор.

— Сымай, сымай.

— Так почем сапожки-то резиновые?

— Да не продаются, я сказал.

— Ну, а все-таки? Семь рублей я дам.

— Давай восемнадцать, — просит желтоногая бабка.

Я подхожу к небольшой толпе возле музыкального отдела — все окружили веселого рыжего парня, парень

пробует красивый бело-черный аккордеон. А здесь же, рядом, продают одежду. Кофточки, брюки, платки, платочки, варежки... стоп! — круг возле рыжего парня распадается — я вижу Бена.

В руках у него — моя труба!

Так это его голос я слышал: «Граждане-колхозники, купите дудку!»?

Мы стоим и молчим и смотрим в упор друг на друга. Мне кажется, я сейчас брошусь на него. У него на лице ехидная, но испуганная улыбка. Я почему-то вытягиваю руки вперед и медленно-медленно иду на него.

Он наклоняется к очкастому парню возле себя — только сейчас я замечаю его — и шепчет ему что-то на ухо. Потом все происходит так быстро, что я даже не успеваю опомниться: очкастый делает несколько шагов вперед и хватает меня за плечо, Бен резко поворачивается и быстро идет к выходу. «Отдай трубу!» — кричу я, но у меня как-то тихо это выходит. Бен скрывается. Очкастый тащит меня в другую сторону, я впииваюсь зубами ему в руку и изо всех сил бью правой в живот, он вскрикивает, сгибается на секунду, но не отпускает и тащит меня дальше. Народ оборачивается. Все смотрят на нас.

— Иди, иди, — громко говорит очкастый. — Трутся тут всякие.

Я сильно дергаю плечом, он отпускает меня, поворачивается и идет обратно.

А я иду дальше, прочь из магазина. Я молчу. Я не кричу и не плачу. Я мог бы сам не отпускать очкастого и позвать милиционера, но мне стыдно и противно делать это. Да и Бен уже скрылся и наверняка не вернется.

Надо поехать и отдать Валерке кольца. Медленно я иду к автобусу. «Эх, Ишка, Ишка», — думаю я.

ИШНА И БЕН

В троллейбусе полно народу, и мне так же нехорошо от толкотни, как утром, на рынке, в той толпе.

— Ты не сердись, Лидия? — говорю я. — Тебе, может, заниматься надо, а я тебя потащил.

— Нет, нет, — говорит она.

— Ты не сердись. Я думаю, мы быстро. Я не стал бы тебя просить, только мне он может трубу не отдать.

— Отдаст, — говорит она. — А ты точно помнишь квартиру?

— Да. И улицу, и дом, и квартиру.

— Мы его заставим, не нервничай.

Я гляжу на нее, и мне кажется, будто она нервничает больше меня. Она очень похудела за те дни, когда я ее не видел.

— Как ты думаешь, он один? — спрашивает Лидия, и я догадываюсь, что она спрашивает, не будет ли там Ишки.

— Не знаю, — говорю я, — вряд ли он придет. А вообще не знаю. Ты видела его с тех пор?

— Да. Один раз. Он заходил ко мне.

— Сам заходил?!

— Нет, не сам! — Лидия сердится. — Смешно. Да, сам. Я не стала с ним разговаривать.

Раньше, еще до случая в кафе, я, наверное, сказал бы ей: «Зачем же так, зачем так делать?» — но теперь, после того как она узнала про трубу, мне и самому этого не хочется.

— А ты уверен, что он был с твоей трубой?

— Да, конечно. Я просто узнал ее. Но если бы я ошибся, он не стал бы тогда убегать от меня.

— Да, да, верно, — Лидия морщится и недовольно машет рукой. Она какая-то рассеянная и худая совсем.

— Нам выходить, — говорю я.

— Нам, наверное, не надо звонить, — шепчу я Лидии, когда мы находим квартиру девять, — вдруг он сам откроет и еще не впустит.

В щелочку идет свет из-за двери. Я наконец решаюсь и стучу кулаком в дверь несколько раз. Открывает какая-то женщина.

— Разве звонок не работает?

— Простите, — говорю я. — Мы все равно не знаем, сколько раз звонить.

— А вам кого?

— Нам Бена.

— Ах, Бена. Ну, проходите.

— Да мы не знаем куда.

— По коридору третья дверь направо, — говорит она и зажигает нам свет в длинном грязном коридоре.

Мы находим нужную дверь. «Вдруг его нет дома?» — думаю я, но Лидия уже стучится и открывает дверь, не дожидаясь ответа.

Ишка и Бен сидят на диване. Накурено. Тихо играет магнитофон. Я смотрю в упор на Бена — лицо у него испуганное. Он остается сидеть, а Ишка встает, засунув руки в карманы брюк, и хмуро разглядывает нас с Лидией.

— Зачем пожаловали? — глухо спрашивает он.

— Ты брал трубу? — говорю я.

— Да, брал.

— Зачем?

— Взял просто так, из сарая домой.

— А зачем ему отдал? — Я киваю на Бена.

— Он попросил на время для какого-то парня из оркестра.

— Это правда?

— Да.

Я почему-то вдруг не верю ему.

— Так вот, — говорю я, — я ездил сегодня на рынок и видел там Бена. С трубой. Он хотел ее продать.

Ишка резко оборачивается и закрывает от нас Бена.

— Это было? — слышу я глухой Ишкин голос.

— Да я... — начинает Бен. Я вижу, как мелькает Ишкина рука, и сухой звук пощечины.

Лидия подвигает к себе стул и садится. Я продолжаю стоять. Ишка опускается на диван.

— Теперь достань трубу, — говорит он.

Бен встает, долго возится где-то под столом и, наконец, подымается с моей трубой. Ишка передает трубу мне.

— Никогда так больше не делайте, Бен, — говорит Лидия. — Вас будут бить.

— Молчала бы! — говорит зло Бен. — Сама-то...

— Что «сама-то»? — резко спрашивает Ишка.

— Да ну... корчит из себя, а сама ходит со всякими.

— Ты ее видел?

— Еще бы.

— Где?

— Где? Да в этом... в «Севере»..

— Давно?

— Неделю назад.

-- Это правда? — Ишка оборачивается к Лидии.

— Нет, это ложь, — говорит Лидия.

Ишка встает, и я слышу вторую сухую и короткую пощечину.

— Уходите, — резко говорит Ишка. — Уходите отсюда! — Он не смотрит на нас.

Мы с Лидией выходим в коридор и закрываем за собой дверь. Возле кухни я прошу Лидию обождать меня и возвращаюсь.

Ишка не оборачивается, когда я вхожу, он только поворачивает голову в мою сторону. Он стоит широко раздвинув ноги, я вижу только его силуэт против света, и, не знаю почему, именно в этот момент мне вдруг кажется, что он тоже похудел.

— Что еще? — спрашивает он.

— Тогда, в кафе, — говорю я, — я был, чтобы выкупить твои часы. У меня тогда были деньги.

Я не слышу, что он мне отвечает и отвечает ли вообще. Я закрываю за собой дверь и иду к Лидии.

— Он убьет его, — говорю я ей уже на улице.

— Мне все равно, — чуть слышно произносит она, помолчав, — все равно...

Я сажаю ее в пустой троллейбус. Я не знаю, куда она едет, куда-то не домой. Она машет мне рукой из окна, троллейбус укатывает, а я еще долго стою, как дурак, с трубой под мышкой и думаю, думаю — неужели я больше никогда не увижу Лидию?

ЧЬИ ВЫ БУДЕТЕ, КОРАБЛИ?

Ишка, мама, Гога, Лидия, Валерка, Семка, ребята и девочки из моего класса, с которыми я теперь почти не дружу, мои отметки — все, будто карусель, кружится, кружится вокруг меня, а я стою один посередине со своей трубой и никак не могу всех остановить.

Когда мне было восемь лет и у меня заболели уши, мама повела меня к врачу. Я отчего-то очень боялся и в больнице ничего не замечал вокруг себя. Там были другие мальчики и девочки, они шумели, прыгали, играли во что-то, но я будто и не видел их.

Я только о том и думал, что со мной станет делать врач.

Вот так и сейчас в школе: все учатся, стараются или не стараются — все переживают, все что-то делают, в кружки ходят, железный лом собирают, бумагу, проводят всякие соревнования, а я все сам по себе, все думаю, думаю и ничего не замечаю. Раньше не так было... Ставят мне тройки, четверки, пятерки, а мне все равно. У меня хорошие ребята и девочки в классе, а будто и нет их. Мне даже обидно, но я ничего не могу с собой поделаться.

Фабрика шумит за стеной, в сарае полумрак. Вот вернулась ко мне моя труба, а лучше не стало. Ну «Поезжайте на трамвае «А», ну и что? Ну выиграю я у Валерки американку, докажу ему, что у меня есть воля, а какой толк? Это каждый может. А вот попробуй сделай так, чтобы Ишка не пил, чтобы у них с Лидией и с Семкой все было хорошо, чтобы Ишка учился как надо, чтобы мама не расстраивалась. Ничего у меня не выходит. Я сую трубу под корзинку, запираю сарай и иду домой.

Ишка дома, и мама дома.

Я останавливаюсь в дверях и смотрю, как Ишка стоит возле окна, ко мне спиной, держась рукой за раму, и не оборачивается, хотя слышит, что кто-то вошел, а мама тоже не глядит на меня и, молча сидя на табуретке, смотрит себе на руки.

Что случилось?! Что?!

Но они молчат оба, и я, ни слова не говоря, прохожу в Ишкину комнату и достаю учебники. Учебники лежат стопкой передо мной, а я сижу и жду чего-то. Может, они позовут меня? Но они молчат. А я вдруг, совсем непонятно почему, вдруг чувствую, что знаю, знаю, что произошло!

— Ну, что же, — слышу я наконец голос мамы. Голос спокойный и тихий. — Нужно теперь думать, как быть дальше.

— Да, да, — говорит Ишка. — Да, да, конечно.

Он добавляет еще что-то и куда-то уходит.

— Мама! — кричу я, выбегая в столовую. — Это правда, что Ишку выгнали из института?!

— Да, правда, Алеша, — тихо говорит она.

Ишка! Корабли, корабли, красивые океанские кораб-

ли, подводные лодки, парусники, белые катера — все они будут плавать по морям, все будут любоваться и восхищаться ими, и никогда, никогда я не смогу сказать с гордостью: «Это сделал мой брат!» Никогда.

— Мама, как же так?!

— Так вышло, милый, так бывает.

— Мам, ты только не расстраивайся, ладно, мам?

— Ладно, ладно. Я постараюсь. Ты знаешь, у него послезавтра бой. Весенний кубок города.

— Что-о?! Какой бой?! Разве ж он сможет?!

— Не знаю. Он сказал, что будет выступать.

«Будет выступать. Будет выступать», — бормочу я.

Карусель кружится, кружится, только не вокруг меня уже, а я сам кружусь со всеми остальными, все быстрее, быстрее, лечу куда-то, лечу...

Что же теперь будет?!

Я выбегаю на улицу.

И-И ШКА - А!!!

Народу перед Зимним стадионом полно. Ходит и спрашивают лишний билетик. Шумят, толкаются, смеются. Я бегаю в толпе как угорелый и ищу Валерку.

— Ну, чего ты бегаешь? Чего ты бегаешь? — успокаивает меня Гога.

— Ай, отстань? Где Валерка?

— «Где, где»! Он же в восемь обещал.

— А сейчас, по-твоему, сколько? Смотри, девятый час уже.

— Ну, сейчас приедет. Ты с ним где договорился?

— У главного входа.

— Думать было надо, сам знаешь, сколько народу бывает.

— Ай, иди ты, — злюсь я.

— А с этим... с Семкой где договорился?

— Да здесь же. За него я не боюсь. Раз обещал, — значит, приедет. А Валерка знаешь какой — увидел значок и пропал.

— Ладно, ладно, — говорит Гога. — Я их дождусь. Иди, звони Лидии.

Да, это самое главное... Оттого я так и нервничаю.

Я объясняю Гоге, как выглядят Валерка и Семка — она ведь их не знает, — и снова бегу звонить Лидии. И позавчера, и вчера, и сегодня я забегаю к ней, но ее все не было — какие-то дежурства в больнице. Георгий Анисимович дал мне сегодня телефон больницы, и вот я, наверное уже в двадцатый раз, звоню туда — и все зря: то занято, то ее нет на месте, то еще что-нибудь.

Я набираю номер и снова вызываю Лидию.

— Ее нет, — слышу я. — Она куда-то вышла. Тебе, мальчик, не надоело звонить, а? Может, ты еще будешь?

— Буду, — говорю я, — не надоело. Понимаете, мне ее очень, очень, очень надо.

— Ну что, сходить за ней, что ли?

— Если можете! Уж вы не сердитесь на меня.

На том конце кладут трубку, и я начинаю ждать. Толстый молодой человек стоит возле меня и прямо в душу мне смотрит — нужно позвонить.

— Мне человека вызывать пошли, — говорю я ему. — Мне очень надо, очень.

Он дуется и отходит. Я отворачиваюсь и вижу — Гога ведет за руки Валерку и Семку. Уже подружались. Ай да Гога!..

— Вы идите, идите, — гоню я их, — я скоро. Вы меня у контроля подождите. Алло! Алло! Лидия?! Это я! Я! Алеша! Узнала? Я тебя плохо слышу. Ты что делаешь? Уходишь?! Уже кончилось дежурство?

— Да, а что? — едва слышно.

— Слушай, Лидия! Я с Зимнего стадиона звоню! Сегодня здесь весенний кубок города!

— Ну и что?

— Скоро Ишка драться будет! Совсем скоро!

— Ну и что же?

— Приезжай, пожалуйста, поскорее! У меня билет для тебя есть! Я тебя третий день ищу!

— Нет, я не приеду.

— Почему?!

— Я не хочу.

— Лидия! Лидия! — кричу я. — Послушай! Сейчас нельзя так! Его из института выгнали!

— Как?!

— Да, да. Приезжай!

— Н-нет.

— Приезжай, пожалуйста! Здесь все! И Гога, и Валерка, и Семка здесь, и мама будет!

— Алеша, — слышу я. — Ну зачем мне-то, ты ведь знаешь, как он...

— Дура! — кричу я. — Он тебя любит!

— Что?

— Любит, любит!!

— Я слышу.

— Ну, Лидия!

— Хорошо. Я скоро...

— Давай скорее. Я тебе билет у контролера оставлю. Слышишь?!

— Да, да.

Я вешаю трубку, бегу к контролю и машу своим, чтобы они проходили. Я оставляю на контроле билет для Лидии — и скорее к рингу. Гонг! Неужели Ишкин бой начался? Я догоняю своих, и мы начинаем пробираться к себе на место. Я гляжу на ринг. Нет, это другой гонг был, какая-то незнакомая пара работает. На нас шикают, пока мы пробираемся. Мама уже сидит на своем месте. Семка знакомит ее с Гогой.

— Когда Пряжников работает? — спрашиваю я у кого-то из соседей.

— Следующая пара.

Aga! Значит, не опоздали. Скорей бы Лидия приехала. Публика аплодирует, но я не смотрю на ринг.

— Интересно, с кем Ишка будет работать? — говорю я Гого.

— Не пижонь.

— Дура.

— Алеша, — говорит мама. Услышала ведь.

— А чего она?

— Смотри, смотри, — говорит Гога.

Я гляжу на ринг. Маленький загнал большого в угол и — раз! раз! — левой в голову... Публика кричит. Гонг.

— Ну, паренек, — говорю я. — Вот это да! А какая левая!

— Не пижонь, — шепчет мне Гога.

Я наступаю ей на ногу.

— Смотри, я скажу Лидии, — шепчет Гога, а глаза у самой хихикают. — Пригласил бокс смотреть, а сам на ноги наступает.

Но я уже не слушаю ее. Скорей бы Лидия приехала.

«...пара полусреднего веса», — слышу я. И тут же аплодисменты. Ишка в халате ныряет под канаты. Я гляжу на маму. Где же Лидия? А второй кто? «В синем углу боксер первого разряда Владимир Котов...» А, Котов. Ишка у него выигрывал. Где же Лидия? Хотя разве так быстро доедешь? Опоздает, значит.

— Во, во, смотрите, — говорит Валерка.

Гонг!

Ишка, как обычно, начинает атаку первым. Он движется по рингу легко, будто танцует, он даже не проводит разведки, а сразу: левой — левой — левой! — все в голову, наверное, хорошо знает Котова. Котов пониже Ишки, но чуть поплотнее. И шея — будь здоров! Я отлично вижу его глаза и широкую, спрятанную в плечо челюсть — сегодня хорошо видно, у нас седьмой ряд.

Котов классно уходит от Ишки, потом сам проводит пару ударов в голову, но хотя при этом получает сильно справа от Ишки, двигается спокойно и твердо.

O-on! — Ишка еще раз попадает Котову в корпус. Аплодисменты.

— Ничего попал, а? — смеется Семка. Я гляжу на него. Каждый раз, когда Ишка начинает атаку, Семка в такт нападению кивает головой, будто помогает Ишке. Какой парень! Я на секунду вспоминаю, как я прибежал в проходную фабрики, вызвал Семку и попросил прийти на бой. Он меня ни о чем не расспрашивал и остановил меня, когда я стал его уговаривать. Он молчал совсем недолго, пока вытирал грязные руки какой-то тряпкой, а потом сказал просто:

— Я приду, Леха, — и хлопнул меня по плечу.

Бой идет равный. Ишка и Котов с самого начала не занимались разведкой и сейчас показывают все, что умеют, хотя, я думаю, пока не в полную силу. Я внимательно приглядываюсь к Ишке, и мне вдруг начинает казаться, что он стал немного другой. Все вроде бы так: и удары, и защита — и все-таки он, по-моему, какой-то вялый. Неужели? Или я ошибаюсь?

Та-та-та! — Ишка пропускает в корпус...

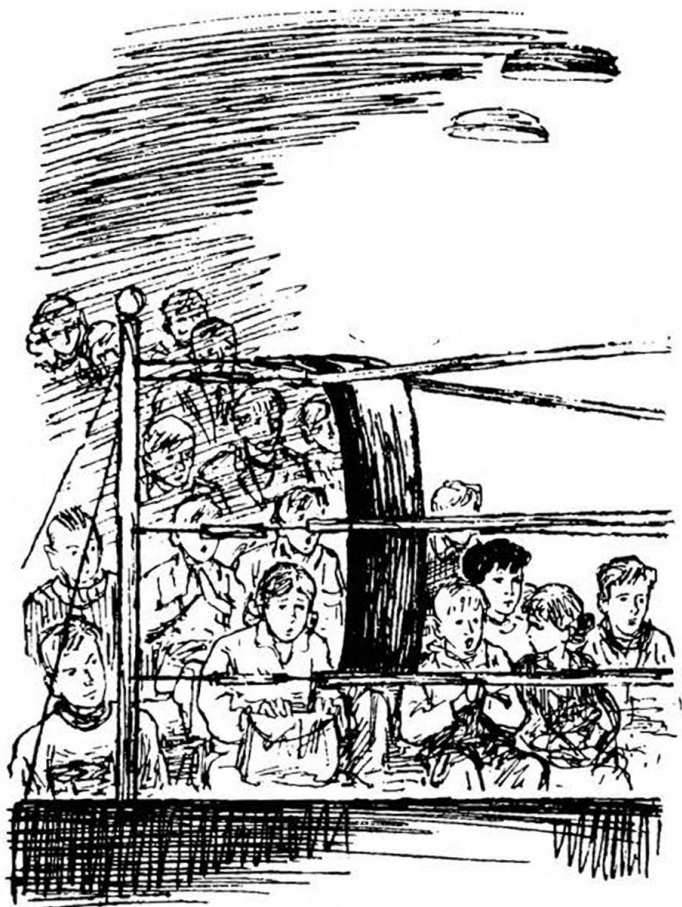
Гонг.

«Где Лидия, где?» — думаю я.

Мама улыбается, глядя на меня.

— Здорово ваш Ишка дерется, — говорит ей Гога.

— Много ты понимаешь, — вставляет Валерка.

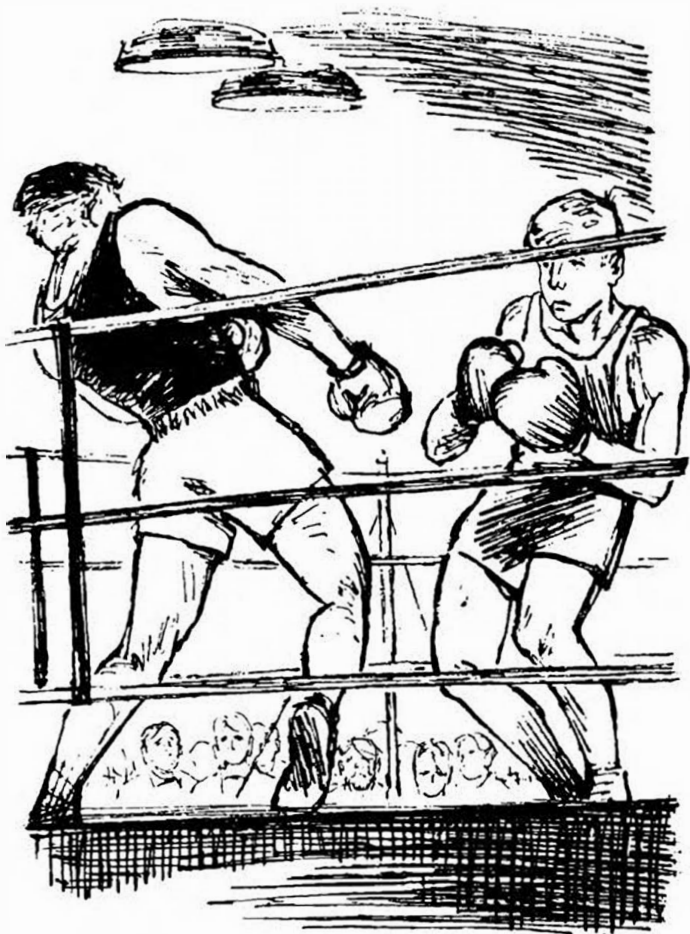


— Молчи, — говорит Гога, — я тебе покажу как-нибудь.

Мама и Семка смеются.

«Ну где же она? — нервничаю я. — Где Лидия?»

— Эй, — Гога толкает меня и кивает головой в сторону ринга.



Ишка смотрит на нас.

Гонг! Второй раунд.

Сначала мне кажется, что я ошибся, — так бойко Ишка начал раунд. Он зажимает Котова в углу и нападает резко и точно. Котов уходит кое-как от Ишки;

уходя, он неожиданно сильно проводит Ишке прямой в голову, и тогда я понимаю, что не ошибся. Все-таки Котов попал не так уж сильно, и, если бы Ишка был совсем в норме, он бы не скис так сразу. Котов работает как машина. Он нападает бурно, но с умом. Он работает в левой стойке и каждую серию заканчивает левой, занимая в конце серии позицию, в которой он плотно закрыт от противника — Ишка когда-то говорил, что так верно.

Ишка скис. Я это ясно вижу теперь.

Та-та-та! — нападает Котов. — Та-та!

Ишка уходит в глухую защиту.

Где Лидия, где же Лидия?!

Левой! Правой! Еще правой! Левой! — Котов нападает.

Та-та! — слабо отвечает Ишка.

Публика ревет.

Неужели он проиграет?!

Где же Лидия, а?!

Я ни на кого не смотрю. Только на ринг и в сторону прохода.

— Ко-тов! Ко-тов! — кричит публика.

— Лидия! — кричу я, заметив, как она пробирается к нам.

— И-ишка! И-ишка! — громко кричу я. Лидия садится, красная, запыхавшаяся.

— И-ишка! И-ишка! — кричим мы все: мама, Гога, я, Семка, Валерка, Лидия. — Иш-ка!! Иш-ка!!!

Гонг! Конец второго раунда.

Мы все не смотрим друг на друга.

— Как только будет гонг третьего раунда, кричите, — шепчу я. — Только сразу.

Лидия трогает меня за плечо.

— Почему так долго, а?

— Я машину искала. Нет такси, и все. Как он?

— Проигрывает.

Я подымаю голову. Ишка глядит на нас и тотчас отворачивается. Ему о другом нужно думать. Я хорошо вижу, как ему трудно. Котов — это не просто так, не новичок какой-нибудь, а Ишка...

Гонг!!!

— И-ишка! — кричу я.

И все подхватывают, из наших:

— И-ншка!! И-ншка!!! И-ншка!!

Ишка бросается вперед так, будто это ему, ему нужно добить Котова.

Стадион ревет.

— И-ишка!! И-ншка!! — кричим мы.

Та-тата... о-оп-па! — проводит серию Ишка.

— Ко-тов!! Ко-тов!! — ревет стадион.

— И-ишка!! И-ишка!! — громче всех кричу я. Я знаю, почему Ишка так начал раунд. Я знаю, что если Ишка не выиграет нокаутом, то он, скорее всего, проиграет бой. Я знаю даже, на сколько ему хватит сил и что нокаута он не сделает. Но я все равно кричу, кричу громче всех, чтобы ему было легче.

Раз-раз-раз — уходит Котов.

Та-та-та-та! — нападает он сам.

— Ко-тов! Ко-тов!! — кричит публика.

И вот все меняется.

Левой! Левой! Правой! Левой! — проводит серию Котов.

В корпус! В корпус! В голову! В корпус! Р-р-раз!

И еще раз!

И еще!

— Ко-тов!! Ко-тов!! А-а-а!!

Гонг!

Это все.

Публика кричит и аплодирует.

— Вставай, Лидия, — говорю я, — пойдем.

И мы начинаем пробираться к проходу.

«Победил Владимир Котов!» — слышу я.

ПРИВЕТ, ПРИВЕТ!

Мы стоим против выхода и ждем Ишку. На улице темнеет, и вдруг стало необыкновенно тепло, как летом, всего за час какой-то.

Мама уже попрощалась с нами и дожидается Ишку у самых дверей.

Он выходит, наконец, в своем сером коротком плаще и с чемоданчиком в руке. Мама такая маленькая рядом с ним. Она становится на цыпочки, а он наклоняется и целует ее в голову. Мама машет нам рукой и уходит.

Ишка тоже подымает руку — знак приветствия — и направляется к нам.

Сначала он, совсем чуть-чуть улыбаясь, разглядывает нас всех, потом ставит чемоданчик на асфальт и садится на корточки перед Гогой, рассматривая ее.

— Это что за прелесть такая? — спрашивает он и нажимает Гоге на нос, как в звонок.

— Это Лехина невеста, — говорит Валерка.

— Да-а?!

Гога, не глядя, машет рукой вправо и попадает Валерке в живот.

— Ой-ой-ой! — сгибается Валерка.

— Классный удар, — говорит Ишка.

— Не то что у тебя, — отвечает Гога и нажимает ему на нос, — такой парень, а проиграл Котову.

Все смеются, Ишка встает с корточек и протягивает руку мне и Валерке, а потом Лидии и Семке.

— Да, проиграл, ребята, — говорит он.

— Уж кому проиграл, — допекает его Гога, — кому-то Котову. Он и по рингу-то двигаться не может.

— Много ты понимаешь! — говорит Валерка. — Си-дела бы.

— Ты опять, — грозит ему Гога, — смотри у меня.

И мы снова все смеемся.

— Ну, ребята, пошли, — командует Лидия, — приглашаю вас всех в «Мороженое». Хотя вообще — это Валерка угощает. Ну, мы с ним потом рассчитаемся.

— Это почему еще? — возмущается и недоумевает Валерка.

— Скоро узнаешь, — дразнит его Лидия и пихает меня в бок.

— Что еще?! — кричит Валерка.

— Пока секрет, — говорю я, — скоро узнаешь.

— Чего еще такое?! — злится Валерка и вдруг добавляет: — Ой, я не могу в «Мороженое», я ведь болел только что.

— Он у нас герой, — говорит Гога. — Не хнычь, не хнычь, герой, мы тебе купим газированной воды целый сифон и конфетку.

— Да ну... — обижается Валерка.

Мы сворачиваем с Малой Садовой на Невский и идем к «Мороженому» в низочке. Мне там нравится. И Невский мне очень нравится. Такой закат над Адми-

ралтейством, почти стемнело уже, а фонари еще не зажгли.

Возле самого «Мороженого» Валерка вдруг срывает с места. Я хватаю его за рукав.

— Ты чего?!

— Скорей, скорей, — он делает мне сумасшедшие глаза, — видел, какой пошел? Со значком?

— Иди-иди, значок, — хохочу я и заталкиваю его в «Мороженое».

Мы усаживаемся за столик, и Лидия заказывает «пять по двести разного», два сифона воды (один Валерке) и еще шоколадку (тоже Валерке).

Мы сидим и болтаем о чем попало, о разных разностях, и едим мороженое.

— Тебе скоро мусор выносить, — подмигивает Лидия Валерке...

— Опять я? — подсказывает Валерка. — Чего вы?!

— Сиди, сиди, герой, — смеется Гога. — Сиди и ешь свою шоколадку.

— Смотри, — грозитя Валерка, — отлуплю тебя, будешь знать.

— Ой, ой! — покатывается со смеху Гога. — Ишь какой Пряжников!

— Ах ты, иголка, — грозит ей Ишка, — всех подкусываешь.

— Я ей... — начинает Валерка.

Мы все хохочем.

— Какое сегодня число? — спрашиваю я. Мне все хором сообщают, что сегодня двадцать восьмое апреля.

— У нас послезавтра, тридцатого апреля, весенний вечер старшеклассников. Вы придете? Ты придешь, Семка?

— Ага, ага, — говорит Семка и одним движением проглатывает целый шарик мороженого.

— А ты, Ишка?

— Обязательно, — и он тоже проглатывает целый шарик. Целый шарик! Вот это ребята!

— А вы-то там при чем? — спрашивает Семка. — Малышня.

— Кое при чем, — говорю я загадочно. — Пока рано знать.

Я так же загадочно улыбаюсь, смотрю на всех, смотрю, и вдруг мне начинает казаться, что все это неправ-

да, будто мы сидим вот так все вместе и запросто болтаем и смеемся. Будто ничего этого нет, и я в ссоре с Валеркой, а Ишка говорит мне: «Не суй свой нос» — и отворачивается, потом он встает совершенно пьяный и велит Лидии: «Уходи!» — и бьет Семку в лицо коротким ударом справа. Семка падает, а Лидия поворачивается и уходит, и я никогда больше ее не увижу, никогда.

Кружится карусель. Я вздрагиваю.

— Еще всем «по двести», а, Лидия? — громко и волнуясь произношу я. — А Валерке еще шоколадку.

— Ура! Ура! — говорят все.

— Да, да, — говорит Семка. — Что это за порции? Каких-то четыре шарика. Как, Ишка, по-твоему?

Ишка кивает, и я успокаиваюсь.

Нам приносят еще мороженого, а Валерке новую шоколадку — медаль с белочкой.

— Во значочек, — говорю я, — повесь.

— Смотри, Валерка, не объешься, — все нападает на него Гога, — тебе доклад делать. Он ведь на весеннем вечере старшеклассников будет доклад делать, герой.

— Да чего вы все сегодня с ума посходили? — делает большие глаза Валерка.

— Это шутка, не сердись, — говорит Семка, — смотри: оп-па! — И целый шарик крем-брюле залетает ему в рот.

— Ты должен показать этот номер на вечере, — говорит ему Гога.

— С удовольствием. Два кило подряд, — хохочет Семка. Он единственный, кого Гога никак не может завести. Она пробовала, только ничего у нее не выходит. И еще Лидию, пожалуй.

— Тридцатого апреля вечер, а первого — уже Первое мая!

— Да, Первое мая, — говорю я. — Май.

— Весна, — говорит Лидия.

— Да, весна, — говорю я. — И ласточки прилетели. Это точно.

Ишка очень внимательно смотрит на меня.

— Они давно прилетели, — говорит он.

— Да, я знаю, — говорю я. — Конечно, они давно уже здесь.

И мы в первый раз смотрим друг на друга.

— А я на демонстрацию пойду, — говорит Валерка. — С классом. А ты?

— Да, да, — говорю я, — конечно, все ребята пойдут. Пойдешь с нами, Гога?

— Я со своими, — говорит Гога и задирает нос.

— Па-адумаешь! — морщится Валерка.

— Эй-эй, не ссориться! — прикрикивает на них Семка. — Глядите: оп-па! — и последний шарик исчезает у него во рту. — Весна. Жарко. Ну, ребята, я прощаюсь, мне сегодня в ночь, позаниматься еще надо. Ну, как, Ишка, пойдем к деткам на вечер?

— Да, — говорит Ишка и улыбается. — Отчего же не пойти, — он почти все время молчит.

Семка прощается со всеми за руку, кладет на стол деньги и идет к выходу.

— Сема! Так нечестно! Я угощаю! — кричит ему вдогонку Лидия.

Семка смеется, машет нам рукой и исчезает.

Потом и мы выходим. Тепло на улице. Весна. А фонари так еще и не зажглись.

— Ну, вы куда, детки? — спрашивает Ишка.

— А вы куда?

— Мы с Лидией к Фонтанке, а потом к Неве. А вы?

— А мы прямо к Адмиралтейству, а потом к Неве.

— Ну, привет.

— Ну, привет.

Мы расходимся, а потом оборачиваемся. Ишка с Лидией тоже оборачиваются.

— Привет! — кричим мы с Валеркой и Гогой. — Приходите на вечер!

— Придем! — кричат Ишка и Лидия. — Привет!

Мы машем им рукой и идем дальше. Потом снова оборачиваемся. И они тоже. Вон они какие, Ишка и Лидия.

— Привет! — кричим мы им. — Привет!

— Привет, — еле слышно долетает от них.

— Привет!

— При-н-ве-ет!

ОГЛАВЛЕНИЕ

А мы живем хорошо	5
Длина одной ги	7
Сайка	9
Лида, Лидия	15
Грязные руки и чистое белье	20
... Пять, четыре, три, два, один. Старт!	23
Чистое белье и грязные руки	31
Я хотел бы поехать в тайгу	37
Дядя Лева	41
А это я даже расслышал	48
В садике у Казанского	56
Между нами, мужчинами...	63
Восьмое марта	72
Веселая больница	76
Как мне быть?	81
Вечера в сарае	87
Зря, всё зря...	92
Попади по руке	99
Сосульки и лошади	106
Входи, входи, Гога	114
Вот тебе и раз — слезы...	120
Я скоро приеду	123
Кофточки, валенки, трусики...-Стоп!	124
Ишка и Бен	127
Чьи вы будете, корабли?	130
И-ишка-а!!!	132
Привет, привет!	139

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Вольф Сергей Евгеньевич

МОЯ БРАТ-БОКСЕР И ЛАСТОЧКИ

Ответственный редактор *Г. В. Антонова*. Консультант по художественному оформлению *Ю. Н. Киселев*. Технический редактор *Л. Б. Леонтьева*.
 Корректоры *К. Д. Немковская* и *Т. Н. Сморклова*.
 Подписано к набору 8/VII 1966 г. Подписано к печати 1/IX 1966 г. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. № 2. Печ. л. 4.5. Усл. печ. л. 7.56. Уч.-изд. л. 7.66. Тираж 50 000 экз. ТП 1966 № 307. М-41112. Ленинградское отделение издательства «Детская литература». Ленинград, наб. Кутузова, 6. Заказ № 840. Цена 32 коп. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Ленинград, 2-я Советская, 7.

Larisa_F

